АЛЕКСАНДР ПУШКИН, МИХАИЛ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН, ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ДР.

ЛУЧШИЕ СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Михаил Ларионович Михайлов
Николай Семёнович Лесков
Константин Дмитриевич Ушинский
Антоний Погорельский
Сергей Тимофеевич Аксаков
Александр Сергеевич Пушкин
Василий Андреевич Жуковский
Пётр Павлович Ершов
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Михаил Юрьевич Лермонтов
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Владимир Иванович Даль
Всеволод Михайлович Гаршин
Владимир Фёдорович Одоевский
Николай Алексеевич Некрасов
Лев Николаевич Толстой

Лучшие сказки русских писателей

Серия «Вся детская классика»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17047990
Лучшие сказки русских писателей / А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов и др.: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-092018-1

Аннотация

Книги серии «Вся детская классика», несомненно, отлично впишутся в домашнюю библиотеку вашего ребенка. Обязательные к прочтению произведения стихотворного жанра, а также прозы, иностранные и отечественные классики и современники – вот на чем строится наша серия. Благодаря блестящему писательскому составу «Вся детская классика» сформирует и разовьет у ребенка прекрасный читательский вкус. На страницах новой книги серии («Лучшие сказки русских писателей») вам встретятся произведениях безукоризненных образцов русской художественной литературы – А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, С.Т. Аксакова и многих других. Книга станет идеальным помощником при подготовке к урокам литературы, а также и при написании сочинений, т. к. в ее составе – сказки, входящие в программу обязательного и дополнительного школьного чтения. Для среднего школьного возраста.

Содержание

Александр Сергеевич Пушкин 9
Сказка о попе и о работнике его Балде 9
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди 17
Сказка о рыбаке и рыбке 57
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 66
Сказка о золотом петушке 89
Василий Андреевич Жуковский 98
Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери 98
Сказка о Иване-царевиче и сером волке 117
Михаил Юрьевич Лермонтов 165
Ашик-Кериб[28] 165
Петр Павлович Ершов 179
Часть первая 179
Часть вторая 209
Часть третья 248
Сергей Тимофеевич Аксаков 284
Владимир Федорович Одоевский 316
Мороз Иванович 316

Городок в табакерке 327
Антоний Погорельский 338
Владимир Иванович Даль 381
Девочка Снегурочка 381
Ворона 387
Война грибов с ягодами 389
Константин Дмитриевич Ушинский 391
Слепая лошадь 391
Ветер и солнце 396
Охотник до сказок 397
Лиса и козел 400
Михаил Ларионович Михайлов 401
Лесные хоромы 401
Два Мороза 405
Волга и Вазуза 409
Николай Алексеевич Некрасов 411
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 417
Премудрый пискарь 417
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил 426
Самоотверженный заяц 438
Ворон-челобитчик 447
Всеволод Михайлович Гаршин 461
Лягушка-путешественница 461
То, чего не было 468
Лев Николаевич Толстой 474

Уж 474
Три медведя 478
Липунюшка 482
Царь и рубашка 485
Николай Семенович Лесков 486
I 486
II 488
III 492
IV 497
V 502
VI 510
VII 513
VIII 520
IX 525
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк 531
Серая Шейка 531
I 531
II 534
III 537
IV 541
Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку 545
Присказка 545
I 546
II 549

III 551
IV 554
V 556
VI 558
VII 561
VIII 563
IX 566
X 568
XI 571
XII 574
XIII 578
XIV 582
XV 586

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов и др Лучшие сказки русских писателей (сборник)

© Бордюг С. И. и Трепенок Н. А. ил., 2015
© Елисеев А. М., ил., 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Сказка о попе и о работнике его Балде

Жил-был поп,
Толоконный лоб[1].
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,

[1] Толоко́нный лоб – глупый, бестолковый человек.

Есть же мне давай вареную полбу[2]».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье».
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До́ светла все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.

---

[2] По́лба – сорт пшеницы, обладающий особыми полезными свойствами.

Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк[3] по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки[4] за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;

---

[3] Обро́к – натуральный или денежный сбор, налог.

[4] Недои́мка – неуплаченная в срок часть налога.

Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
– «Да вот веревкой хочу море мо́рщить
Да вас, проклятое племя, корчить».
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
– «Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха».
– «Ба́лдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда-мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть – возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,

Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку;
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,

Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь – а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел,
На братца поглядывает боком.
«Погоди, – говорит, – схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что всё море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» – «Да жду вон этой тучки:
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».
Испугался бесенок да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,

А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь…»
– «Нет, – говорит Балда, —
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу.
Посмотрим, какова у тебе сила.
Видишь: там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой».
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом
Да версту проскакал, так что пыль столбом.

Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Черти стали в кружок,
Делать нечего – собрали полный оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка,
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
«Кабы я была царица, —
Говорит ее сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, —
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.

Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, —
Говорит он, – будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честно́й
Сел с царицей молодой;
А потом честны́е гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,

Плачет у станка ткачиха —
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

В те поры́ война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра́ коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына Бог им дал в аршин[5],
И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой[6]
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;

---

[5] Арши́н – старорусская мера длины, равная 71,12 см.

[6] Бабари́ха – в русских народных сказках шуточное название бабы.

Сами шлют гонца другого
Вот с чем о́т слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую —
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:

«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по́ небу идет,
Бочка по́ морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел – царица во́пит…

А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на́ берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,

Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелко́вый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон…
Видно, на́ море не тихо;
Смотрит – видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет…
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил…
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,

Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит —
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе – всё не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Де́вицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду;
Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? —
Говорит он, – вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный Бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают,
И царевича венчают

Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.

Ветер на́ море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой.
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:

«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По́ морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чем горе!

Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на́ море догнал.
Потихоньку опустился
На корабль – и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате

На престоле и в венце
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за́ морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».

Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право, —
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит, —
Город у́ моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.

Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка —
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;

Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает[7];
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий —
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет,
И с присвисточкой поет
При честно́м при всем народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо, – молвил он, —
Ай да лебедь – дай ей Боже,
Что и мне, веселье то же».
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,

[7] Ба́ять (то же, что и баить) – рассказывать.

Караул к нему приставил
И притом дьяка[8] заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по́ морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далек:

---

[8] Дьяк – государственный служащий, чиновник.

Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана…»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По́ морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь – а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит…
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль – и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана —

И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за́ морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За́ морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на́ море лежит,
Град на острове стоит

С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный[9]
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд[10];
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».

---

[9] Прика́зный – от слова «приказ» – орган государственного управления.

[10] Спуд – тайник, хранилище.

Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? Ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на́ берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится…
Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» – и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави ее, дави…
Вот ужо! постой немножко,
Погоди…» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.
Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.

Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел».
«А какое ж это диво?»
«Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на́ берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор».
Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».

Князь пошел, забывши горе,

Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли».

Все потом домой ушли.

Ветер по́ морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости.
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом[11],
Чистым се́ребром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:

---

[11] Була́т – особо прочная сталь.

«Добрый путь вам, господа,
По́ морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит…
Так и тянет и уносит…
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шме́лем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на́ море догнал,
Потихоньку опустился
На корму – и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна

Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за́ морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За́ морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на́ море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:

Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на́ берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними и́з моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу – но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:

«Кто нас этим удивит?
Люди и́з моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За́ морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет Божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится —

Прямо на́ нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради Бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави…
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь – поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу».
«А кого же на примете
Ты имеешь?» – «Да на свете,

Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет Божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;

Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубо́ко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта – я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой гру́ди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня родная!

Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по́ морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит

И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далек:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По́ морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит

Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости,
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за́ морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За́ морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на́ море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;

Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы́-то золотые,
Ядра – чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на́ берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор, —
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть:

Днем свет Божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? царь или дитя? —
Говорит он не шутя.—
Нынче ж еду!» – Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на́ море глядит:

Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва-едва трепещет.
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;
К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;

В город он повел царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,
Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале – торопливо
Смотрят – что ж? княгиня – диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет.

Царь глядит – и узнает…
В нем взыграло ретивое[12]!
«Что я вижу? что такое?
Как?» – и дух в нем занялся…
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел – царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.

---

[12] Ретиво́е – сердце, душа.

Сказка о рыбаке и рыбке

Жил старик со своею старухой
У са́мого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, —
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод, —
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, —
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой, – золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море!
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:

«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо:
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит, – море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»

Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом,
Будет вам новое корыто».

Воротился старик ко старухе;
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж и́збу».

Вот пошел он к синему морю
(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!

Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и сле́да;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми воро́ты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!

Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчева́я на маковке кичка[13],
Жемчуги́ огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун[14] таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшню служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,

---

[13] Ки́чка – старинный женский головной убор.
[14] Чупру́н – чуб.

Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь!
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.

«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,

Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с Богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, – испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!

Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась.
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!

Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у́ моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто.

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда[15] очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.

---

[15] Инда – даже.

На него она взглянула,
Тяжелехонько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.
Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел, как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива[16],
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,

[16] Ломли́вый – упрямый, спесивый.

Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась – и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов.

На девичник собираясь,

Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди все царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.

Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна всё ж милее,
Все ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке[17] своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Черт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя».

---

[17] Сенна́я де́вушка – служанка, горничная.

Та, в душе ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, Бог с тобой».
А сама пришла домой.
«Что? – сказала ей царица, —
Где красавица-девица?»
«Там, в лесу, стоит одна, —
Отвечает ей она, —
Крепко связаны ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть».

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно Богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей-душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла

И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,

Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила,
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Все в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,

Сорочина в поле спе́шить[18],
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса,
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберет и приготовит,
Им она не прекословит,
Не перечат ей они.
Так идут за днями дни.

Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы рады,
Да нельзя, так Бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою.

---

[18] Сороча́на в по́ле спе́шить – воевать с татарином.

Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»

«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные, —
Им царевна говорит, —
Коли лгу, пусть Бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».

Братья молча постояли
Да в затылке почесали.
«Спрос не грех. Прости ты нас, —
Старший молвил, поклонясь, —
Коли так, не заикнуся
Уж о том». – «Я не сержуся, —
Тихо молвила она, —
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,

Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее,
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;
Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что все ж тебя милей».
И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела

Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой[19] угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко, —
Ей кричит она в окошко, —
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пес проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне». – Царевна хочет

[19] Рога́тка – орудие пытки в виде ошейника с шипами.

Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пес ей под ноги – и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выспался он худо, —
Ей царевна говорит, —
На ж, лови!» – и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала;
«Благодарствую, – сказала.—
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»
И к царевне наливное,
Молодое, золотое
Прямо яблочко летит…
Пес как прыгнет, завизжит…
Но царевна в обе руки
Хвать – поймала. «Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет,
Благодарствуй за обед», —
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала…
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо

Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! – Она его ласкать,
Треплет нежною рукою:
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» – и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Все на яблоко. Оно,
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь…
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила…
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,

Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала…

Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,
Пес бежит и ко двору
Путь им кажет. «Не к добру! —
Братья молвили, – печали
Не минуем». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели
И раздумали. Она,

Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили – и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили,
И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе;
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец:
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?

Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». – «Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил».

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». – «Братец мой, —
Отвечает месяц ясный, —
Не видал я девы красной.

На сторóже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала». – «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее». – «Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг

Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба…
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!

Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна все ж милее,
Все румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала

И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

Сказка о золотом петушке

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело,
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, —
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь, – лихие гости
Идут о́т моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,

Инда забывал и сон.
Что́ и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу.
Шлет за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу, —
Молвил он царю, – на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом всё будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.

«За такое одолженье, —
Говорит он в восхищенье, —
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож, как со сна,
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кирику-ку.
Царствуй, лежа на боку!»
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись! беда!»
– «Что такое, господа? —

Говорит Дадон, зевая. —
А?.. Кто там?.. беда какая?»
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит,
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку, – ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на́ конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.
Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей:
Было ль, не было ль сраженья, —
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них,
Снова восемь дней проходят;
Люди в страхе дни проводят,

Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,
Сам не зная, быть ли проку.

Войска и́дут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» – мыслит он.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит…
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов[20] и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,

[20] Шело́м – шлем.

По протоптанной траве,
По кровавой мураве…
Царь завыл: «Ох, дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатер
Распахнулся… и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя, как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном
Улыбнулась – и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала.
Всяким яством угощала,
Уложила отдыхать
На парчовую кровать.

И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей, близ ворот,
С шумом встретил их народ, —
Все бегут за колесницей,
За Дадоном и царицей;
Всех приветствует Дадон…
Вдруг в толпе увидел он:
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.
«А, здорово, мой отец, —
Молвил царь ему, – что скажешь?
Подь поближе. Что прикажешь?»
– «Царь! – ответствует мудрец, —
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу

Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу».
Крайне царь был изумлен.
«Что ты? – старцу молвил он, —
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего».
– «Не хочу я ничего!
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу», —
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: «Так лих же: нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;

Оттащите старика!»
Старичок хотел заспорить,
Но с иным накладно вздорить;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. – Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.
Вот – въезжает в город он…
Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился… и в то же время
С колесницы пал Дадон —
Охнул раз, – и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери

Жил-был царь Берендей до колен борода. Уж три года
Был он женат и жил в согласье с женою; но всё им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Ну́жда случилась царю осмотреть свое государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было безводно…
Как быть, что делать? А плохо приходит; вот он решился
Сам объехать всё поле: авось, попадется на счастье
Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь. Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон водою

Вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик – не тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо, и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб ковшик
Стал на место, хвать его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой же! (подумал
Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую
Начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула
Вся его борода. Напившись вдоволь, поднять он
Голову хочет… ан нет, погоди! не пускают; и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою —
Держат его, да и только. «Кто там? пустите!» – кричит он.
Нет ответа; лишь страшная смотрит со дна образина:
Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык, меж зубами
Выставясь, дразнит царя; а в бороду впутались крепко
Вместо пальцев клешни. И вот наконец сиповатый

Голос сказал из воды: «Не трудися, царь, понапрасну;
Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю
Всё!» И он отвечал образине: «Изволь, я согласен».
«Ладно! – опять сиповатый послышался голос. – Смотри же,
Слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа».
С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся, как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю поклонились.
Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал,
Только уж вот он близко столицы; навстречу толпами
Сыплет народ, и пушки палят, и на всех колокольнях
Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам —
Там царица стоит на крыльце и ждет; и с царицей
Рядом первый министр; на руках он своих парчовую
Держит подушку; на ней же младенец, прекрасный как светлый
Месяц, в пеленках копышется. Царь догадался и ахнул.
«Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты, проклятый
Демон, меня!» Так он подумал и горько, горько заплакал;
Все удивились, но слова никто не промолвил. Младенца
На руки взявши, царь Берендей любовался им долго,
Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку и, горе
Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал. О тайне

Царской никто не узнал; но все примечали, что крепко
Царь был печален – он всё дожидался; вот придут за сыном;
Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
Время, однако, текло, а никто не являлся. Царевич
Рос не по дням – по часам; и сделался чудо-красавец.
Вот наконец и царь Берендей о том, что случилось,
Вовсе забыл… но другие не так забывчивы были.
Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
Чащу заехал один. Он смотрит: всё дико; поляна,
Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой, с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич, – сказал он. —
Долго тебя дожидалися мы; пора бы нас вспомнить». —
«Кто ты?» – царевич спросил. «Об этом после; теперь же
Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси да скажи от меня: не пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья». И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.
Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь, – говорит он, – со мною случилось

Чудо». И он рассказал о том, что видел и слышал.

Царь Берендей побледнел как мертвец. «Беда, мой сердечный

Друг, Иван-царевич! – воскликнул он, горько заплакав. —

Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную тайну о данной

Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися, родитель, —

Так отвечал Иван-царевич, – беда невели́ка.

Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;

Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто не проведал,

Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я

К вам по прошествии целого года не буду, тогда уж

Знайте, что нет на свете меня». Снарядили как должно

В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые

Латы, меч и коня вороного; царица с мощами

Крест на шею надела ему; отпели молебен;

Нежно потом обнялися, поплакали… с Богом! Поехал

В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет? Уж едет

День он, другой и третий; в исходе четвертого – солнце

Только успело зайти – подъезжает он к озеру; гладко

Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;

Всё в окрестности пусто; румяным вечерним сияньем

Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый

Берег и частый тростник – и всё как будто бы дремлет;

Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках

Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит, и что же
Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уточек подле
Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль
Слез Иван-царевич с коня; высокой травою
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек тихонько
Взял; потом угнездился в кусте дожидаться, что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют, ныряют…
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись, подплы-
ли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова присядет…
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич, отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич? Девица
В белой одежде стоит перед ним, молода и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и, краснея,

Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,
Голосом звонким, как струны, ему говорит: «Благодарствуй,
Добрый Иван-царевич, за то, что меня ты послушал;
Тем ты себе самому услужил, но и мною доволен
Будешь: я дочь Кощея бессмертного, Марья-царевна;
Тридцать нас у него, дочерей молодых. Подземельным
Царством владеет Кощей. Он давно уж тебя поджидает
В гости и очень сердит; но ты не пекись, не заботься,
Сделай лишь то, что я тебе присоветую. Слушай:
Только завидишь Кощея-царя, упади на колена,
Прямо к нему поползи; затопает он – не пугайся;
Станет ругаться – не слушай; ползи да и только; что после
Будет, увидишь; теперь пора нам». И Марья-царевна
В землю ударила маленькой ножкой своей; расступилась
Тотчас земля, и они вместе в подземное царство спустились.
Видят дворец Кощея бессмертного; высечен был он
Весь из карбункула[21] камня и ярче небесного солнца
Всё под землей освещал. Иван-царевич отважно
Входит: Кощей сидит на престоле в светлой короне;
Блещут глаза, как два изумруда; руки с клешнями.
Только завидел его вдалеке, тотчас на колени
Стал Иван-царевич. Кощей же затопал, сверкнуло

---

[21] Карбу́нкул – драгоценный или полудрагоценный камень красного цвета (обычно – разновидность граната).

Страшно в зеленых глазах, и так закричал он, что своды
Царства подземного дрогнули. Слово Марьи-царевны
Вспомня, пополз на карачках Иван-царевич к престолу;
Царь шумит, а царевич ползет да ползет. Напоследок
Стало царю и смешно. «Добро ты, проказник, – сказал он, —
Если тебе удалося меня рассмешить, то с тобою
Ссоры теперь заводить я не стану. Милости просим
К нам в подземельное царство; но знай, за твое ослушанье
Должен ты нам отслужить три службы; сочтемся мы завтра;
Ныне уж поздно; поди». Тут два придворных проворно
Под руки взяли Ивана-царевича очень учтиво,
С ним пошли в покой, отведенный ему, отворили
Дверь, поклонились царевичу в пояс, ушли, и остался
Там он один. Беззаботно он лег на постелю и скоро
Сном глубоким заснул. На другой день рано поутру
Царь Кощей к себе Ивана-царевича кликнул:
«Ну, Иван-царевич, – сказал он, – теперь мы посмотрим,
Что-то искусен ты делать? Изволь, например, нам построить
Нынешней ночью дворец: чтоб кровля была золотая,
Стены из мрамора, окна хрустальные, вкруг регулярный
Сад, и в саду пруды с карасями; если построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять… головы не удержишь!»

—

«Ах ты, Кощей окаянный, – Иван-царевич подумал, —
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь; уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла – и слышит он голос: «Впусти!» Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич; о чем ты
Так призадумался?» – «Нехотя будешь задумчив, – сказал он. —
Батюшка твой до моей головы добирается». – «Что же
Сделать решился ты?» – «Что? Ничего. Пускай его снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не минуешь». —
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поранее встань; уж дворец твой построен
Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай в стену».
Так всё и сделалось. Утром, ни свет ни заря, из каморки
Вышел Иван-царевич… глядит, а дворец уж построен.
Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей изумился;
Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на шутку, —
Так он сказал Ивану-царевичу, – вижу, ты ловок
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь догадлив.

Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных царевен.
Завтра я всех их рядом поставлю, и должен ты будешь
Три раза мимо пройти и в третий мне раз без ошибки
Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать; не узнаешь —
С плеч голова. Поди». – «Уж выдумал, чучела, мудрость, —
Думал Иван-царевич, сидя под окном. – Не узнать мне
Марью-царевну… какая ж тут трудность?» – «А трудность такая, —
Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши, – что если
Я не вступлюся, то быть беде неминуемой. Всех нас
Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое
Сходство меж нами, что сам отец наш только по платью
Может нас различать». – «Ну что же мне делать?» – «А вот что:
Буду я та, у которой на правой щеке ты заметишь
Мошку. Смотри же, будь осторожен, вглядись хорошенько,
Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка исчезла.
Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну, искусник, —
Молвил Кощей, – изволь-ка пройтиться три раза мимо
Этих красавиц, да в третий раз потрудись указать нам
Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он

В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот он проходит
В первый раз – мошки нет; проходит в другой раз – всё мошки
Нет; проходит в третий и видит – крадется мошка,
Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под нею
Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим сердцем:
«Вот она, Марья-царевна!» – сказал он Кощею, подавши
Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут, примечаю,
Что-то нечисто, – Кощей проворчал, на царевича с сердцем
Выпучив оба зеленые глаза. – Правда, узнал ты
Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и хитрость;
Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь доберуся
Я до тебя. Часа через три ты опять к нам пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость на деле
Здесь покажи; зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво; да только
Знай наперед: не сошьешь – долой голова; до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так задумчив,
Милый Иван-царевич?» – спросила она. «Поневоле
Будешь задумчив, – он ей отвечал. – Отец твой затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы много

Этих бессмертных». – «Иван-царевич, да что же ты будешь
Делать?» – «Что мне тут делать? Шить сапогов я не стану.
Снимет он голову – черт с ним, с собакой! какая мне нужда!» —
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж другого
Способа нет». Так сказав, на окошко Марья-царевна
Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу; из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко зашвырнула,
За руки взявшись потом, они поднялися и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное царство:
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный в землю
Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за двери им слюнки,

Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: буду.
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать – царевич нейдет; посылает в другой раз
Тех же послов рассерженный Кощей, и та же всё песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей. «Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать и в минуту
За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились слуги…
Двери разломаны… вот тебе раз; никого там, а слюнки
Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.
Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее
Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если
Он убежит!..» Помчалась погоня… «Мне слышится топот», —
Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна, прижавшись
Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и, припавши
Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко». – «Так медлить
Нечего», – Марья-царевна сказала, и в ту же минуту
Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком. Быстро погоня
Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшися, стали
В пень Кощеевы слуги: след до мостика виден;

Дале ж и след пропадает и делится на три дорога.
Нечего делать – назад! Воротились разумники. Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.
«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня… «Мне слышится топот», —
Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, говорит ей:
«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-царевна
Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их, дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками несется.
Вот по свежему следу гонцы примчалися к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко? ну только б схватить; ан нет, не дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню; и скрылось
Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей отвечает:

«Скачут, и близко». – «Беда нам! Ведь это Кощей, мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет. Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки
Ей подает, и в минуту она обратилася в церковь,
Он в монаха, а конь в колокольню – и в ту же минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли проезжих,
Старец честной?» – он спросил у монаха. «Сейчас проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они – святым помолились да мне приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе поклониться,
Если ко мне ты заедешь». – «Чтоб шею сломить им, проклятым!» —
Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный помчался
С свитой назад, а примчавшись домой, пересек беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед ними

Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, – сказала
Марья-царевна, – не езди; недаром вещее сердце
Ноет во мне: беда приключится». – «Чего ты боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». – «Заехать нетрудно, да трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же, мой милый,
Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна
Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный младенец
Будет; младенца того не целуй; поцелуешь – забудешь
Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на третий
День не придешь… но прости, поезжай». И в город поехал,
С нею простяся, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталася Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и третий —
Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!
Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-кудряшка,
Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился прямо
В руки Ивану-царевичу; он же его красотою

Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.
Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого камня
Марья-царевна в лазоревый цвет полевой превратилась.
«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом затопчет
Кто-нибудь в землю меня», – сказала она, и росинки
Слез на листках голубых заблистали. Доро́гой в то время
Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотою пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в корытце
Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой минуты
Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик – а в избушке
Всё уж как надобно прибрано; нет нигде ни пылинки.
В полдень придет он домой – а обед уж состряпан, и чистой
Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на здоровье.
Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок
Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки
Начал совета просить, что делать. «А вот что ты сделай, —
Так отвечала ему ворожейка, – встань ты до первой
Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба
Глаза гляди: что начнет в избушке твоей шевелиться,

То ты вот этим платком и накрой. Что будет, увидишь».
Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,
Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке
Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой встрепенулся,
С тонкого стебля спорхнул и начал летать по избушке;
Всё между тем по местам становилось, повсюду сметалась
Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с постели
Прянул старик и накрыл цветочек платком, и явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? – сказала она. – Зачем возвратил ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта». – «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен, и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна, приближась
К старшему повару, с видом умильным и сладким, как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай, позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича». Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел

Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; всё что угодно
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном блюде
Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем; гости
Все удивились, увидя пирог. Но лишь только верхушку
Срезал с него Иван-царевич – новое чудо!
Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.
Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует:
«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты забудешь
Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»
Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;
Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а за дверью
Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же
Конь вороной с нетерпенья, оседланный, взнузданный, пляшет.
Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею
Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают
В царство царя Берендея они. И царь и царица
Приняли их с весельем таким, что такого веселья
Видом не видано, слыхом не слыхано. Долго не стали
Думать, честным пирком да за свадебку; съехались гости,
Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво
Пил; по усам текло, да в рот не попало. И всё тут.

Сказка о Иване-
царевиче и сером волке

Давным-давно был в некотором царстве
Могучий царь, по имени Демьян
Данилович. Он царствовал премудро;
И было у него три сына: Клим-
Царевич, Петр-царевич и Иван-
Царевич. Да еще был у него
Прекрасный сад, и чудная росла
В саду том яблоня; всё золотые
Родились яблоки на ней. Но вдруг
В тех яблоках царевых оказался
Великий недочет; и царь Демьян
Данилович был так тем опечален,
Что похудел, лишился аппетита
И впал в бессонницу. Вот наконец,
Призвав к себе своих трех сыновей,
Он им сказал: «Сердечные друзья
И сыновья мои родные, Клим-
Царевич, Петр-царевич и Иван-
Царевич, должно вам теперь большую
Услугу оказать мне; в царский сад мой
Повадился таскаться ночью вор;
И золотых уж очень много яблок

Пропало; для меня ж пропажа эта
Тошнее смерти. Слушайте, друзья:
Тому из вас, кому поймать удастся
Под яблоней ночного вора, я
Отдам при жизни половину царства;
Когда ж умру, и всё ему оставлю
В наследство». Сыновья, услышав то,
Что им сказал отец, уговорились
Поочередно в сад ходить, и ночь
Не спать, и вора сторожить. И первый
Пошел, как скоро ночь настала, Клим-
Царевич в сад, и там залег в густую
Траву под яблоней, и с полчаса
В ней пролежал, да и заснул так крепко,
Что полдень был, когда, глаза продрав,
Он поднялся, во весь зевая рот.
И, возвратясь, царю Демьяну он
Сказал, что вор в ту ночь не приходил.
Другая ночь настала; Петр-царевич
Сел сторожить под яблонею вора;
Он целый час крепился, в темноту
Во все глаза глядел, но в темноте
Всё было пусто; наконец и он,
Не одолев дремоты, повалился
В траву, и захрапел на целый сад.
Давно был день, когда проснулся он.

Пришед к царю, ему донес он так же,
Как Клим-царевич, что и в эту ночь
Красть царских яблок вор не приходил.
На третью ночь отправился Иван-
Царевич в сад по очереди вора
Стеречь. Под яблоней он притаился,
Сидел не шевелясь, глядел прилежно
И не дремал; и вот, когда настала
Глухая полночь, сад весь облеснуло
Как будто молнией; и что же видит
Иван-царевич? От востока быстро
Летит жар-птица, огненной звездою
Блестя и в день преобращая ночь.
Прижавшись к яблоне, Иван-царевич
Сидит, не движется, не дышит, ждет,
Что будет? Сев на яблоню, жар-птица
За дело принялась и нарвала
С десяток яблок. Тут Иван-царевич,
Тихохонько поднявшись из травы,
Схватил за хвост воровку; уронив
На землю яблоки, она рванулась
Всей силою и вырвала из рук
Царевича свой хвост и улетела;
Однако у него в руках одно
Перо осталось, и такой был блеск
От этого пера, что целый сад

Казался огненным. К царю Демьяну
Пришед, Иван-царевич доложил
Ему, что вор нашелся и что этот
Вор был не человек, а птица; в знак же,
Что правду он сказал, Иван-царевич
Почтительно царю Демьяну подал
Перо, которое он из хвоста
У вора вырвал. С радости отец
Его расцеловал. С тех пор не стали
Красть яблок золотых, и царь Демьян
Развеселился, пополнел и начал
По-прежнему есть, пить и спать. Но в нем
Желанье сильное зажглось: добыть
Воровку яблок, чудную жар-птицу.
Призвав к себе двух старших сыновей,
«Друзья мои, – сказал он, – Клим-царевич
И Петр-царевич, вам уже давно
Пора людей увидеть и себя
Им показать. С моим благословеньем
И с помощью Господней поезжайте
На подвиги и наживите честь
Себе и славу; мне ж, царю, достаньте
Жар-птицу; кто из вас ее достанет,
Тому при жизни я отдам полцарства,
А после смерти всё ему оставлю
В наследство». Поклонясь царю, немедля

Царевичи отправились в дорогу.
Немного времени спустя пришел
К царю Иван-царевич и сказал:
«Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович, позволь мне ехать
За братьями; и мне пора людей
Увидеть, и себя им показать,
И честь себе нажить от них и славу.
Да и тебе, царю, я угодить
Желал бы, для тебя достав жар-птицу.
Родительское мне благословенье
Дай и позволь пуститься в путь мой с Богом».
На это царь сказал: «Иван-царевич,
Еще ты молод, погоди; твоя
Пора придет; теперь же ты меня
Не покидай; я стар, уж мне недолго
На свете жить; а если я один
Умру, то на кого покину свой
Народ и царство?» Но Иван-царевич
Был так упрям, что напоследок царь
И нехотя его благословил.
И в путь отправился Иван-царевич;
И ехал, ехал, и приехал к месту,
Где разделялася дорога на три.
Он на распутье том увидел столб,
А на столбе такую надпись: «Кто

Поедет прямо, будет всю дорогу
И голоден и холоден; кто вправо
Поедет, будет жив, да конь его
Умрет, а влево кто поедет, сам
Умрет, да конь его жив будет». Вправо,
Подумавши, поворотить решился
Иван-царевич. Он недолго ехал;
Вдруг выбежал из леса Серый Волк
И кинулся свирепо на коня;
И не успел Иван-царевич взяться
За меч, как был уж конь заеден,
И Серый Волк пропал. Иван-царевич,
Повесив голову, пошел тихонько
Пешком; но шел недолго; перед ним
По-прежнему явился Серый Волк
И человечьим голосом сказал:
«Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный,
Что твоего я доброго коня
Заел, но ты ведь сам, конечно, видел,
Что на столбу написано; тому
Так следовало быть; однако ж ты
Свою печаль забудь и на меня
Садись; тебе я верою и правдой
Служить отныне буду. Ну, скажи же,
Куда теперь ты едешь и зачем?»
И Серому Иван-царевич Волку

Всё рассказал. А Серый Волк ему
Ответствовал: «Где отыскать жар-птицу,
Я знаю; ну, садися на меня,
Иван-царевич, и поедем с Богом».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком, и с ним он в полночь
У каменной стены остановился.
«Приехали, Иван-царевич! – Волк
Сказал, – но слушай, в клетке золотой
За этою оградою висит
Жар-птица; ты ее из клетки
Достань тихонько, клетки же отнюдь
Не трогай: попадешь в беду». Иван-
Царевич перелез через ограду;
За ней в саду увидел он жар-птицу
В богатой клетке золотой, и сад
Был освещен, как будто солнцем. Вынув
Из клетки золотой жар-птицу, он
Подумал: «В чем же мне ее везти?»
И, позабыв, что Серый Волк ему
Советовал, взял клетку; но отвсюду
Проведены к ней были струны; громкий
Поднялся звон, и сторожа проснулись,
И в сад сбежались, и в саду Ивана-
Царевича схватили, и к царю
Представили, а царь (он назывался

Далматом) так сказал: «Откуда ты?
И кто ты?» – «Я Иван-царевич; мой
Отец, Демьян Данилович, владеет
Великим, сильным государством; ваша
Жар-птица по ночам летать в наш сад
Повадилась, чтоб золотые красть
Там яблоки: за ней меня послал
Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович». На это царь
Далмат сказал: «Царевич ты иль нет,
Того не знаю я; но, если правду
Сказал ты, то не царским ремеслом
Ты промышляешь; мог бы прямо мне
Сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу,
И я тебе ее руками б отдал
Во уважение того, что царь
Демьян Данилович, столь знаменитый
Своей премудростью, тебе отец.
Но слушай, я тебе мою жар-птицу
Охотно уступлю, когда ты сам
Достанешь мне коня Золотогрива;
Принадлежит могучему царю
Афрону он. За тридевять земель
Ты в тридесятое отправься царство
И у могучего царя Афрона
Мне выпроси коня Золотогрива

Иль хитростью какой его достань.
Когда ж ко мне с конем не возвратишься,
То по всему расславлю свету я,
Что ты не царский сын, а вор; и будет
Тогда тебе великий срам и стыд».
Повесив голову, Иван-царевич
Пошел туда, где был им Серый Волк
Оставлен. Серый Волк ему сказал:
«Напрасно же меня, Иван-царевич,
Ты не послушался; но пособить
Уж нечем; будь вперед умней; поедем
За тридевять земель к царю Афрону».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком; и к ночи в царство
Царя Афрона прибыли они
И у дверей конюшни царской там
Остановились. «Ну, Иван-царевич,
Послушай, – Серый Волк сказал, – войди
В конюшню; конюха спят крепко; ты
Легко из стойла выведешь коня
Золотогрива; только не бери
Его уздечки; снова попадешь в беду».
В конюшню царскую Иван-царевич
Вошел, и вывел он коня из стойла;
Но на беду взглянувши на уздечку,
Прельстился ею так, что позабыл

Совсем о том, что Серый Волк сказал,
И снял с гвоздя уздечку. Но и к ней
Проведены отвсюду были струны;
Всё зазвенело; конюха вскочили;
И был с конем Иван-царевич пойман.
И привели его к царю Афрону.
И царь Афрон спросил сурово: «Кто ты?»
Ему Иван-царевич то ж в ответ
Сказал, что и царю Далмату. Царь
Афрон ответствовал: «Хороший ты
Царевич! Так ли должно поступать
Царевичам? И царское ли дело
Шататься по ночам и воровать
Коней? С тебя я буйную бы мог
Снять голову; но молодость твою
Мне жалко погубить; да и коня
Золотогрива дать я соглашусь,
Лишь поезжай за тридевять земель
Ты в тридесятое отсюда царство
Да привези оттуда мне царевну
Прекрасную Елену, дочь царя
Могучего Касима; если ж мне
Ее не привезешь, то я везде расславлю,
Что ты ночной бродяга, плут и вор».
Опять, повесив голову, пошел
Туда Иван-царевич, где его

Ждал Серый Волк. И Серый Волк сказал:
«Ой ты, Иван-царевич! Если б я
Тебя так не любил, здесь моего бы
И духу не было. Ну, полно охать,
Садися на меня, поедем с Богом
За тридевять земель к царю Касиму;
Теперь мое, а не твое уж дело».
И Серый Волк опять скакать с Иваном-
Царевичем пустился. Вот они
Проехали уж тридевять земель,
И вот они уж в тридесятом царстве;
И Серый Волк, ссадив с себя Ивана-
Царевича, сказал: «Недалеко
Отсюда царский сад, туда один
Пойду я; ты ж меня дождись под этим
Зеленым дубом». Серый Волк пошел,
И перелез через ограду сада,
И закопался в куст, и там лежал
Не шевелясь. Прекрасная Елена
Касимовна – с ней красные девицы,
И мамушки, и нянюшки – пошла
Прогуливаться в сад; а Серый Волк
Того и ждал: приметив, что царевна,
От прочих отделяся, шла одна,
Он выскочил из-под куста, схватил
Царевну, за спину ее свою

Закинул и давай Бог ноги. Страшный
Крик подняли и красные девицы,
И мамушки, и нянюшки; и весь
Сбежался двор, министры, камергеры
И генералы; царь велел собрать
Охотников и всех спустить своих
Собак борзых и гончих – всё напрасно:
Уж Серый Волк с царевной и с Иваном-
Царевичем был далеко, и след
Давно простыл; царевна же лежала
Без всякого движенья у Ивана-
Царевича в руках (так Серый Волк
Ее, сердечную, перепугал).
Вот понемногу начала она
Входить в себя, пошевелилась, глазки
Прекрасные открыла и, совсем
Очнувшись, подняла их на Ивана-
Царевича и покраснела вся,
Как роза алая; и с ней Иван-
Царевич покраснел, и в этот миг
Она и он друг друга полюбили
Так сильно, что ни в сказке рассказать,
Ни описать пером того не можно.
И впал в глубокую печаль Иван-
Царевич: крепко, крепко не хотелось
С царевною Еленою ему

Расстаться и ее отдать царю
Афрону; да и ей самой то было
Страшнее смерти. Серый Волк, заметив
Их горе, так сказал: «Иван-царевич,
Изволишь ты кручиниться напрасно;
Я помогу твоей кручине: это
Не служба – службишка; прямая служба
Ждет впереди». И вот они уж в царстве
Царя Афрона. Серый Волк сказал:
«Иван-царевич, здесь должны умненько
Мы поступить: я превращусь в царевну;
А ты со мной явись к царю Афрону.
Меня ему отдай и, получив
Коня Золотогрива, поезжай вперед
С Еленою Касимовной; меня вы
Дождитесь в скрытном месте; ждать же вам
Не будет скучно». Тут, ударясь оземь,
Стал Серый Волк царевною Еленой
Касимовной. Иван-царевич, сдав
Его с рук на руки царю Афрону
И получив коня Золотогрива,
На том коне стрелой пустился в лес,
Где настоящая его ждала
Царевна. Во дворце ж царя Афрона
Тем временем готовилася свадьба:
И в тот же день с невестой царь к венцу

Пошел; когда же их перевенчали
И молодой был должен молодую
Поцеловать, губами царь Афрон
С шершавою столкнулся волчьей мордой,
И эта морда за нос укусила
Царя, и не жену перед собой
Красавицу, а волка царь Афрон
Увидел; Серый Волк недолго стал
Тут церемониться: он сбил хвостом
Царя Афрона с ног и прянул в двери.
Все принялись кричать: «Держи, держи!
Лови, лови!» Куда ты! Уж Ивана-
Царевича с царевною Еленой
Давно догнал проворный Серый Волк;
И уж, сошед с коня Золотогрива,
Иван-царевич пересел на Волка,
И уж вперед они опять, как вихри,
Летели. Вот приехали и в царство
Далматово они. И Серый Волк
Сказал: «В коня Золотогрива
Я превращусь, а ты, Иван-царевич,
Меня отдав царю и взяв жар-птицу,
По-прежнему с царевною Еленой
Ступай вперед; я скоро догоню вас».
Так всё и сделалось, как Волк устроил.
Немедленно велел Золотогрива

Царь оседлать, и выехал на нем
Он с свитою придворной на охоту;
И впереди у всех он поскакал
За зайцем; все придворные кричали:
«Как молодецки скачет царь Далмат!»
Но вдруг из-под него на всем скаку
Юркнул шершавый Волк, и царь Далмат,
Перекувырнувшись с его спины,
Вмиг очутился головою вниз,
Ногами вверх, и, по плеча́ ушедши
В распаханную землю, упирался
В нее руками, и, напрасно силясь
Освободиться, в воздухе болтал
Ногами; вся к нему тут свита
Скакать пустилася; освободили
Царя; потом все принялися громко
Кричать: «Лови! лови! Трави, трави!»
Но было некого травить; на Волке
Уже по-прежнему сидел Иван-
Царевич; на коне ж Золотогриве
Царевна, и под ней Золотогрив
Гордился и плясал; не торопясь,
Большой дорогою они шажком
Тихонько ехали; и мало ль, долго ль
Их длилася дорога – наконец
Они доехали до места, где Иван-

Царевич Серым Волком в первый раз
Был встречен; и еще лежали там
Его коня белеющие кости;
И Серый Волк, вздохнув, сказал Ивану-
Царевичу: «Теперь, Иван-царевич,
Пришла пора друг друга нам покинуть;
Я верою и правдою доныне
Тебе служил, и ласкою твоею
Доволен, и, покуда жив, тебя
Не позабуду; здесь же на прощанье
Хочу тебе совет полезный дать:
Будь осторожен, люди злы; и братьям
Родным не верь. Молю усердно Бога,
Чтоб ты домой доехал без беды
И чтоб меня обрадовал приятным
Известьем о себе. Прости, Иван-
Царевич». С этим словом Волк исчез.
Погоревав о нем, Иван-царевич,
С царевною Еленой на седле,
С жар-птицей в клетке за плечами, дале
Поехал на коне Золотогриве,
И ехали они дня три, четыре;
И вот, подъехавши к границе царства,
Где властвовал премудрый царь Демьян
Данилович, увидели богатый
Шатер, разбитый на лугу зеленом;

И из шатра к ним вышли… кто же? Клим
И Петр-царевичи. Иван-царевич
Был встречею такою несказанно
Обрадован; а братьям в сердце зависть
Змеей вползла, когда они жар-птицу
С царевною Еленой у Ивана-
Царевича увидели в руках:
Была им мысль несносна показаться
Без ничего к отцу, тогда как брат
Меньшой воротится к нему с жар-птицей,
С прекрасною невестой и с конем
Золотогривом и еще получит
Полцарства по приезде; а когда
Отец умрет, и всё возьмет в наследство.
И вот они замыслили злодейство:
Вид дружеский принявши, пригласили
Они в шатер свой отдохнуть Ивана-
Царевича с царевною Еленой
Прекрасною. Без подозренья оба
Вошли в шатер. Иван-царевич, долгой
Дорогой утомленный, лег и скоро
Заснул глубоким сном; того и ждали
Злодеи братья: мигом острый меч
Они ему вонзили в грудь, и в поле
Его оставили, и, взяв царевну,
Жар-птицу и коня Золотогрива,

Как добрые, отправилися в путь.
А между тем, недвижим, бездыханен,
Облитый кровью, на́ поле широком
Лежал Иван-царевич. Так прошел
Весь день; уже склоняться начинало
На запад солнце; поле было пусто;
И уж над мертвым с черным вороненком
Носился, каркая и распустивши
Широко крылья, хищный ворон. Вдруг,
Откуда ни возьмись, явился Серый
Волк: он, беду великую почуяв,
На помощь подоспел; еще б минута,
И было б поздно. Угадав, какой
Был умысел у ворона, он дал
Ему на мертвое спуститься тело;
И только тот спустился, разом цап
Его за хвост; закаркал старый ворон.
«Пусти меня на волю, Серый Волк», —
Кричал он. «Не пущу, – тот отвечал, —
Пока не принесет твой вороненок
Живой и мертвой мне воды!» И ворон
Велел лететь скорее вороненку
За мертвою и за живой водою.
Сын полетел, а Серый Волк, отца
Порядком скомкав, с ним весьма учтиво
Стал разговаривать, и старый ворон

Довольно мог ему порассказать
О том, что он видал в свой долгий век
Меж птиц и меж людей. И слушал
Его с большим вниманьем Серый Волк
И мудрости его необычайной
Дивился, но, однако, всё за хвост
Его держал и иногда, чтоб он
Не забывался, мял его легонько
В когтистых лапах. Солнце село; ночь
Настала и прошла; и занялась
Заря, когда с живой водой и мертвой
В двух пузырьках проворный вороненок
Явился. Серый Волк взял пузырьки
И ворона-отца пустил на волю.
Потом он с пузырьками подошел
К лежавшему недвижимо Ивану-
Царевичу: сперва его он мертвой
Водою вспрыснул – и в минуту рана
Его закрылася, окостенелость
Пропала в мертвых членах, заиграл
Румянец на щеках; его он вспрыснул
Живой водой – и он открыл глаза,
Пошевелился, потянулся, встал
И молвил: «Как же долго про́спал я!» —
«И вечно бы тебе здесь спать, Иван-
Царевич, – Серый Волк сказал, – когда б

Не я; теперь тебе прямую службу
Я отслужил; но эта служба, знай,
Последняя, отныне о себе
Заботься сам. А от меня прими
Совет и поступи, как я тебе скажу.
Твоих злодеев братьев нет уж боле
На свете; им могучий чародей
Кощей бессмертный голову обоим
Свернул, и этот чародей навел
На ваше царство сон; и твой родитель
И подданные все его теперь
Непробудимо спят; твою ж царевну
С жар-птицей и конем Золотогривом
Похитил вор Кощей; все трое
Заключены в его волшебном замке.
Но ты, Иван-царевич, за свою
Невесту ничего не бойся; злой
Кощей над нею власти никакой
Иметь не может: сильный талисман
Есть у царевны; выйти ж ей из замка
Нельзя; ее избавит только смерть
Кощеева; а как найти ту смерть, и я
Того не ведаю; об этом Баба
Яга одна сказать лишь может. Ты,
Иван-царевич, должен эту Бабу
Ягу найти; она в дремучем, темном лесе,

В седом, глухом бору живет в избушке
На курьих ножках; в этот лес еще
Никто следа не пролагал; в него
Ни дикий зверь не заходил, ни птица
Не залетала. Разъезжает Баба
Яга по целой поднебесной в ступе,
Пестом железным погоняет, след
Метлою заметает. От нее
Одной узнаешь ты, Иван-царевич,
Как смерть Кощееву тебе достать.
А я тебе скажу, где ты найдешь
Коня, который привезет тебя
Прямой дорогой в лес дремучий к Бабе
Яге. Ступай отсюда на восток;
Придешь на луг зеленый; посреди
Его растут три дуба; меж дубами
В земле чугунная зарыта дверь
С кольцом; за то кольцо ты подыми
Ту дверь и вниз по лестнице сойди;
Там за двенадцатью дверями заперт
Конь богатырский; сам из подземелья
К тебе он выбежит; того коня
Возьми и с Богом поезжай; с дороги
Он не собьется. Ну, теперь прости,
Иван-царевич; если Бог велит
С тобой нам свидеться, то это будет

Не и́наче, как у тебя на свадьбе».
И Серый Волк помчался к лесу; вслед
За ним смотрел Иван-царевич с грустью;
Волк, к лесу подбежавши, обернулся,
В последний раз махнул издалека
Хвостом и скрылся. А Иван-царевич,
Оборотившись на восток лицом,
Пошел вперед. Идет он день, идет
Другой; на третий он приходит к лугу
Зеленому; на том лугу три дуба
Растут; меж тех дубов находит он
Чугунную с кольцом железным дверь;
Он подымает дверь; под тою дверью
Крутая лестница; по ней он вниз
Спускается, и перед ним внизу
Другая дверь, чугунная ж, и крепко
Она замком висячим заперта.
И вдруг, он слышит, конь заржал; и ржанье
Так было сильно, что, с петлéй сорвавшись,
Дверь наземь рухнула с ужасным стуком;
И видит он, что вместе с ней упало
Еще одиннадцать дверей чугунных.
За этими чугунными дверями
Давным-давно конь богатырский заперт
Был колдуном. Иван-царевич свистнул;
Почуяв седока, на молодецкий

Свист богатырский конь из стойла прянул
И прибежал, легок, могуч, красив,
Глаза как звезды, пламенные ноздри,
Как туча грива, словом, конь не конь,
А чудо. Чтоб узнать, каков он силой,
Иван-царевич по спине его
Повел рукой, и под рукой могучей
Конь захрапел и сильно пошатнулся,
Но устоял, копыта втиснув в землю;
И человечьим голосом Ивану-
Царевичу сказал он: «Добрый витязь,
Иван-царевич, мне такой, как ты,
Седок и надобен; готов тебе
Я верою и правдою служить;
Садися на меня, и с Богом в путь наш
Отправимся; на свете все дороги
Я знаю; только прикажи, куда
Тебя везти, туда и привезу».
Иван-царевич в двух словах коню
Всё объяснил и, севши на него,
Прикрикнул. И взвился могучий конь,
От радости заржавши, на дыбы;
Бьет по крутым бедрам его седок;
И конь бежит, под ним земля дрожит;
Несется выше он дерев стоячих,
Несется ниже облаков ходячих,

И прядает через широкий дол,
И застилает узкий дол хвостом,
И грудью все заграды пробивает,
Летя стрелой и легкими ногами
Былиночки к земле не пригибая,
Пылиночки с земли не подымая.
Но, так скакав день целый, наконец
Конь утомился, пот с него бежал
Ручьями, весь был окружен, как дымом,
Горячим паром он. Иван-царевич,
Чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом;
Уж было под вечер; широким полем
Иван-царевич ехал и прекрасным
Закатом солнца любовался. Вдруг
Он слышит дикий крик; глядит… и что же?
Два Лешая дерутся на дороге,
Кусаются, брыкаются, друг друга
Рогами тычут. К ним Иван-царевич
Подъехавши, спросил: «За что у вас,
Ребята, дело стало?» – «Вот за что, —
Сказал один. – Три клада нам достались:
Драчун-дубинка, скатерть-самобранка
Да шапка-невидимка – нас же двое;
Как поровну нам разделиться? Мы
Заспорили, и вышла драка; ты
Разумный человек; подай совет нам,

Как поступить?» – «А вот как, – им Иван-
Царевич отвечал. – Пущу стрелу,
А вы за ней бегите; с места ж, где
Она на землю упадет, обратно
Пуститесь взапуски ко мне; кто первый
Здесь будет, тот возьмет себе на выбор
Два клада; а другому взять один.
Согласны ль вы?» – «Согласны», – закричали
Рогатые; и стали рядом. Лук
Тугой свой натянув, пустил стрелу
Иван-царевич: Лешие за ней
Помчались, выпуча глаза, оставив
На месте скатерть, шапку и дубинку.
Тогда Иван-царевич, взяв под мышку
И скатерть и дубинку, на себя
Надел спокойно шапку-невидимку,
Стал невидимым и сам и конь и дале
Поехал, глупым Лешаям оставив
На произвол, начать ли снова драку
Иль помириться. Богатырский конь
Поспел еще до захождения солнца
В дремучий лес, где обитала Баба
Яга. И, въехав в лес, Иван-царевич
Дивится древности его огромных
Дубов и сосен, тускло освещенных
Зарей вечернею; и всё в нем тихо:

Деревья все как сонные стоят,
Не колыхнется лист, не шевельнется
Былинка; нет живого ничего
В безмолвной глубине лесной, ни птицы
Между ветвей, ни в травке червяка;
Лишь слышится в молчанье повсеместном
Гремучий топот конский. Наконец
Иван-царевич выехал к избушке
На курьих ножках. Он сказал: «Избушка,
Избушка, к лесу стань задом, ко мне
Стань передо́м». И перед ним избушка
Перевернулась; он в нее вошел;
В дверях остановясь, перекрестился
На все четыре стороны, потом,
Как до́лжно, поклонился и, глазами
Избушку всю окинувши, увидел,
Что на полу ее лежала Баба
Яга, уперши ноги в потолок
И в угол голову. Услышав стук
В дверях, она сказала: «Фу! фу! фу!
Какое диво! Русского здесь духу
До этих пор не слыхано слыхо́м,
Не видано видо́м, а нынче русский
Дух уж в очах свершается. Зачем
Пожаловал сюда, Иван-царевич?
Неволею иль волею? Доныне

Здесь ни дубравный зверь не проходил,
Ни птица легкая не пролетала,
Ни богатырь лихой не проезжал;
Тебя как Бог сюда занес, Иван-
Царевич?» – «Ах, безмозглая ты ведьма! —
Сказал Иван-царевич Бабе
Яге. – Сначала накорми, напой
Меня ты, мо́лодца; да постели
Постелю мне, да выспаться мне дай,
Потом расспрашивай». И тотчас Баба
Яга, поднявшись на ноги, Ивана-
Царевича как следует обмыла
И выпарила в бане, накормила
И напоила, да и тотчас спать
В постелю уложила, так примолвив:
«Спи, добрый витязь; утро мудренее,
Чем вечер; здесь теперь спокойно
Ты отдохнешь; нужду ж свою расскажешь
Мне завтра; я, как знаю, помогу».
Иван-царевич, Богу помолясь,
В постелю лег и скоро сном глубоким
Заснул и про́спал до полудня. Вставши,
Умывшися, одевшися, он Бабе
Яге подробно рассказал, зачем
Заехал к ней в дремучий лес; и Баба
Яга ему ответствовала так:

«Ах! добрый молодец Иван-царевич,
Затеял ты нешуточное дело;
Но не кручинься, всё уладим с Богом;
Я научу, как смерть тебе Кощея
Бессмертного достать; изволь меня
Послушать: на море на́ Окиане,
На острове великом на Буяне
Есть старый дуб; под этим старым дубом
Зарыт сундук, окованный железом;
В том сундуке лежит пушистый заяц;
В том зайце утка серая сидит;
А в утке той яйцо; в яйце же смерть
Кощеева. Ты то яйцо возьми
И с ним ступай к Кощею, а когда
В его приедешь замок, то увидишь,
Что змей двенадцатиголовый вход
В тот замок стережет; ты с этим змеем
Не думай драться, у тебя на то
Дубинка есть; она его уймет.
А ты, надевши шапку-невидимку,
Иди прямой дорогою к Кощею
Бессмертному; в минуту он издохнет,
Как скоро ты при нем яйцо раздавишь.
Смотри лишь не забудь, когда назад
Поедешь, взять и гусли-самогуды:
Лишь их игрою только твой родитель

Демьян Данилович и всё его
Заснувшее с ним вместе государство
Пробуждены быть могут. Ну, теперь
Прости, Иван-царевич; Бог с тобою;
Твой добрый конь найдет дорогу сам;
Когда ж свершишь опасный подвиг свой,
То и меня, старуху, помяни
Не лихом, а добром». Иван-царевич,
Простившись с Бабою Ягою, сел
На доброго коня, перекрестился,
По-молодецки свистнул, конь помчался,
И скоро лес дремучий за Иваном-
Царевичем пропал вдали, и скоро
Мелькнуло впереди чертою синей
На крае неба море Окиан.
Вот прискакал и к морю Окиану
Иван-царевич. Осмотрясь, он видит,
Что у́ моря лежит рыбачий невод
И что в том неводе морская щука
Трепещется. И вдруг ему та щука
По-человечьи говорит: «Иван-
Царевич, вынь из невода меня
И в море брось; тебе я пригожуся».
Иван-царевич тотчас просьбу щуки
Исполнил, и она, хлестнув хвостом
В знак благодарности, исчезла в море.

А на море глядит Иван-царевич
В недоумении; на самом крае,
Где небо с ним как будто бы слилося,
Он видит, длинной полосою остров
Буян чернеет; он и недалек;
Но кто туда перевезет? Вдруг конь
Заговорил: «О чем, Иван-царевич,
Задумался? О том ли, как добраться
Нам до Буяна острова? Да что
За трудность? Я тебе корабль; сиди
На мне, да крепче за меня держись,
Да не робей, и духом доплывем».
И в гриву конскую Иван-царевич
Рукою впутался, крутые бедра
Коня ногами крепко стиснул; конь
Рассвирепел и, расскакавшись, прянул
С крутого берега в морскую бездну;
На миг и он и всадник в глубине
Пропали; вдруг раздвинулася с шумом
Морская зыбь, и вынырнул могучий
Конь из нее с отважным седоком;
И начал конь копытами и грудью
Бить по водам и волны пробивать,
И вкруг него кипела, волновалась,
И пенилась, и брызгами взлетала
Морская зыбь, и сильными прыжками,

Под крепкие копыта загребая
Кругом ревущую волну, как легкий
На парусах корабль с попутным ветром,
Вперед стремился конь, и длинный след
Шипящею бежал за ним змеею;
И скоро он до острова Буяна
Доплыл и на берег его отлогий
Из моря выбежал, покрытый пеной.
Не стал Иван-царевич медлить; он,
Коня пустив по шелковому лугу
Ходить, гулять и травку медовую
Щипать, пошел поспешным шагом к дубу,
Который рос у берега морского
На высоте муравчатого холма.
И, к дубу подошед, Иван-царевич
Его шатнул рукою богатырской,
Но крепкий дуб не пошатнулся; он
Опять его шатнул – дуб скрипнул; он
Еще шатнул его и посильнее,
Дуб покачнулся, и под ним коренья
Зашевелили землю; тут Иван-царевич
Всей силою рванул его – и с треском
Он повалился, из земли коренья
Со всех сторон, как змеи, поднялися,
И там, где ими дуб впивался в землю,
Глубокая открылась яма. В ней

Иван-царевич кованый сундук
Увидел; тотчас тот сундук из ямы
Он вытащил, висячий сбил замок,
Взял за уши лежавшего там зайца
И разорвал; но только лишь успел
Он зайца разорвать, как из него
Вдруг выпорхнула утка; быстро
Она взвилась и полетела к морю;
В нее пустил стрелу Иван-царевич,
И метко так, что пронизал ее
Насквозь; закрякав, кувырнулась утка;
И из нее вдруг выпало яйцо
И прямо в море; и пошло, как ключ,
Ко дну. Иван-царевич ахнул; вдруг,
Откуда ни возьмись, морская щука
Сверкнула на воде, потом юркнула,
Хлестнув хвостом, на дно, потом опять
Всплыла и, к берегу с яйцом во рту
Тихохонько приближась, на песке
Яйцо оставила, потом сказала:
«Ты видишь сам теперь, Иван-царевич,
Что я тебе в час нужный пригодилась».
С сим словом щука уплыла. Иван-
Царевич взял яйцо; и конь могучий
С Буяна острова на твердый берег
Его обратно перенес. И далее

Конь поскакал и скоро прискакал
К крутой горе, на высоте которой
Кощеев замок был; ее подошва
Обведена была стеной железной;
И у ворот железной той стены
Двенадцатиголовый змей лежал;
И из его двенадцати голов
Всегда шесть спали, шесть не спали, днем
И ночью по два раза для надзора
Сменяясь; а в виду ворот железных
Никто и вдалеке остановиться
Не смел; змей подымался, и от зуб
Его уж не было спасенья – он
Был невредим и только сам себя
Мог умертвить; чужая ж сила сладить
С ним никакая не могла. Но конь
Был осторожен; он подвез Ивана-
Царевича к горе со стороны,
Противной ворота́м, в которых змей
Лежал и караулил; потихоньку
Иван-царевич в шапке-невидимке
Подъехал к змею; шесть его голов
Во все глаза по сторонам глядели,
Разинув рты, оскалив зубы; шесть
Других голов на вытянутых шеях
Лежали на земле, не шевелясь,

И, сном объятые, храпели. Тут
Иван-царевич, подтолкнув дубинку,
Висевшую спокойно на седле,
Шепнул ей: «Начинай!» Не стала долго
Дубинка думать, тотчас прыг с седла,
На змея кинулась и ну его
По головам и спящим и неспящим
Гвоздить. Он зашипел, озлился, начал
Туда, сюда бросаться; а дубинка
Его себе колотит да колотит;
Лишь только он одну разинет пасть,
Чтоб ее схватить – ан нет, прошу
Не торопиться, уж она
Ему другую чешет морду; все он
Двенадцать ртов откроет, чтоб ее
Поймать, – она по всем его зубам,
Оскаленным как будто напоказ,
Гуляет и все зубы чистит; взвыв
И все носы наморщив, он зажмет
Все рты и лапами схватить дубинку
Попробует – она тогда его
Честит по всем двенадцати затылкам;
Змей в исступлении, как одурелый,
Кидался, выл, кувыркался, от злости
Дышал огнем, грыз землю – всё напрасно!
Не торопясь, отчетливо, спокойно,

Без промахов, над ним свою дубинка
Работу продолжает и его,
Как на току усердный цеп, молотит;
Змей наконец озлился так, что начал
Грызть самого себя и, когти в грудь
Себе вдруг запустив, рванул так сильно,
Что разорвался надвое и, с визгом
На землю грянувшись, издох. Дубинка
Работу и над мертвым продолжать
Свою, как над живым, хотела; но
Иван-царевич ей сказал: «Довольно!»
И вмиг она, как будто не бывала
Ни в чем, повисла на седле. Иван-
Царевич, у ворот коня оставив
И разостлавши скатерть-самобранку
У ног его, чтоб мог усталый конь
Наесться и напиться вдоволь, сам
Пошел, покрытый шапкой-невидимкой,
С дубинкою на всякий случай и с яйцом
В Кощеев замок. Трудновато было
Карабкаться ему на верх горы;
Вот, наконец, добрался и до замка
Кощеева Иван-царевич. Вдруг
Он слышит, что в саду недалеко
Играют гусли-самогуды; в сад
Вошедши, в самом деле он увидел,

Что гусли на дубу висели и играли
И что под дубом тем сама Елена
Прекрасная сидела, погрузившись
В раздумье. Шапку-невидимку снявши,
Он тотчас ей явился и рукою
Знак подал, чтоб она молчала. Ей
Потом он на ухо шепнул: «Я смерть
Кощееву принес; ты подожди
Меня на этом месте; я с ним скоро
Управлюся и возвращусь; и мы
Немедленно уедем». Тут Иван-
Царевич, снова шапку-невидимку
Надев, хотел идти искать Кощея
Бессмертного в его волшебном замке,
Но он и сам пожаловал. Приближась,
Он стал перед царевною Еленой
Прекрасною и начал попрекать ей
Ее печаль и говорить: «Иван-
Царевич твой к тебе уж не придет;
Его уж нам не воскресить. Но чем же
Я не жених тебе, скажи сама,
Прекрасная моя царевна? Полно ж
Упрямиться, упрямство не поможет;
Из рук моих оно тебя не вырвет;
Уж я…» Дубинке тут шепнул Иван-
Царевич: «Начинай!» И принялась

Она трепать Кощею спину. С криком,
Как бешеный, коверкаться и прыгать
Он начал, а Иван-царевич, шапки
Не сняв, стал приговаривать: «Прибавь,
Прибавь, дубинка; поделом ему,
Собаке: не воруй чужих невест;
Не докучай своею волчьей харей
И глупым сватовством своим прекрасным
Царевнам; злого сна не наводи
На царства! Крепче бей его, дубинка!» —
«Да где ты! Покажись! – кричал Кощей. —
Кто ты таков?» – «А вот кто!» – отвечал
Иван-царевич, шапку-невидимку
Сняв с головы своей, и в то ж мгновенье
Ударил оземь он яйцо; оно
Разбилось вдребезги; Кощей бессмертный
Перекувырнулся и околел.
Иван-царевич из саду с царевной
Еленою Прекрасной вышел, взять
Не позабывши гусли-самогуды,
Жар-птицу и коня Золотогрива.
Когда ж они с крутой горы спустились
И, севши на коней, в обратный путь
Поехали, гора, ужасно затрещав,
Упала с замком, и на месте том
Явилось озеро, и долго черный

Над ним клубился дым, распространяясь
По всей окрестности с великим смрадом.
Тем временем Иван-царевич, дав
Коням на волю их везти, как им
Самим хотелось, весело с прекрасной
Невестой ехал. Скатерть-самобранка
Усердно им дорогою служила,
И был всегда готов им вкусный завтрак,
Обед и ужин в надлежащий час:
На мураве душистой утром, в полдень
Под деревом густовершинным, ночью
Под шелковым шатром, который был
Всегда из двух отдельных половин
Составлен. И за каждой их трапезой
Играли гусли-самогуды; ночью
Светила им жар-птица, а дубинка
Стояла на часах, перед шатром;
Кони же, подружась, гуляли вместе,
Каталися по бархатному лугу,
Или траву росистую щипали,
Иль, голову кладя поочередно
Друг другу на спину, спокойно спали.
Так ехали они путем-дорогой
И наконец приехали в то царство,
Которым властвовал отец Ивана-
Царевича, премудрый царь Демьян

Данилович. И царство всё, от самых
Его границ до царского дворца,
Объято было сном непробудимым;
И где они ни проезжали, всё
Там спало; на́ поле перед сохой
Стояли спящие волы; близ них
С своим бичом, взмахнутым и заснувшим
На взмахе, пахарь спал; среди большой
Дороги спал ездок с конем, и пыль
Поднявшись, сонная, недвижным клубом
Стояла; в воздухе был мертвый сон;
На деревах листы дремали молча;
И в ветвях сонные молчали птицы;
В селеньях, в городах всё было тихо,
Как будто в гробе: люди по домам,
На улицах, гуляя, сидя, стоя,
И с ними всё: собаки, кошки, куры,
В конюшнях лошади, в закутах овцы,
И мухи на стенах, и дым в трубах —
Все спало. Так в отцовскую столицу
Иван-царевич напоследок прибыл
С царевною Еленою прекрасной.
И, на широкий взъехав царский двор,
Они на нем лежавшие два трупа
Увидели: то были Клим и Петр-
Царевичи, убитые Кощеем.

Иван-царевич, мимо караула,
Стоявшего в параде сонным строем,
Прошед, по лестнице повел невесту
В покои царские. Был во дворце,
По случаю прибытия двух старших
Царевых сыновей, богатый пир
В тот самый час, когда убил обоих
Царевичей и сон на весь народ
Навел Кощей: весь пир в одно мгновенье
Тогда заснул, кто как сидел, кто как
Ходил, кто как плясал; и в этом сне
Еще их всех нашел Иван-царевич;
Демьян Данилович спал стоя; подле
Царя храпел министр его двора
С открытым ртом, с неконченным во рту
Докладом; и придворные чины,
Все вытянувшись, сонные стояли
Перед царем, уставив на него
Свои глаза, потухшие от сна,
С подобострастием на сонных лицах,
С заснувшею улыбкой на губах.
Иван-царевич, подошед с царевной
Еленою прекрасною к царю,
Сказал: «Играйте, гусли-самогуды»;
И заиграли гусли-самогуды…
Вдруг всё очнулось, всё заговорило,

Запрыгало и заплясало; словно
Ни на минуту не был прерван пир.
А царь Демьян Данилович, увидя,
Что перед ним с царевною Еленой
Прекрасною стоит Иван-царевич,
Его любимый сын, едва совсем
Не обезумел: он смеялся, плакал,
Глядел на сына, глаз не отводя,
И целовал его, и миловал,
И напоследок так развеселился,
Что руки в боки и пошел плясать
С царевною Еленою прекрасной.
Потом он приказал стрелять из пушек,
Звонить в колокола и бирючам[22]
Столице возвестить, что возвратился
Иван-царевич, что ему полцарства
Теперь же уступает царь Демьян
Данилович, что он наименован
Наследником, что завтра брак его
С царевною Еленою свершится
В придворной церкви и что царь Демьян
Данилович весь свой народ зовет
На свадьбу к сыну, всех военных, статских,
Министров, генералов, всех дворян
Богатых, всех дворян мелкопоместных,

---

[22] Бирю́ч – глашатай.

Купцов, мещан, простых людей и даже
Всех нищих. И на следующий день
Невесту с женихом повел Демьян
Данилович к венцу; когда же их
Перевенчали, тотчас поздравленье
Им принесли все знатные чины
Обоих полов; а народ на площади
Дворцовой той порой кипел, как море;
Когда же вышел с молодыми царь
К нему на золотой балкон, от крика:
«Да здравствует наш государь Демьян
Данилович с наследником Иваном-
Царевичем и с дочерью царевной
Еленою прекрасною!» все зданья
Столицы дрогнули и от взлетевших
На воздух шапок Божий день затмился.
Вот на обед все званные царем
Сошлися гости – вся его столица;
В домах осталися одни больные
Да дети, кошки и собаки. Тут
Свое проворство скатерть-самобранка
Явила: вдруг она на целый город
Раскинулась; сама собою площадь
Уставилась столами, и столы
По улицам в два ряда протянулись;
На всех столах сервиз был золотой,

И не стекло, хрусталь; а под столами
Шелковые ковры повсюду были
Разостланы; и всем гостям служили
Гейдуки[23] в золотых ливреях. Был
Обед такой, какого никогда
Никто не слыхивал: уха, как жидкий
Янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях;
Огромножирные, длиною в сажень
Из Волги стерляди на золотых
Узорных блюдах; кулебяка с сладкой
Начинкою, с груздями гуси, каша
С сметаною, блины с икрою свежей
И крупной, как жемчуг, и пироги
Подовые[24], потопленные в масле;
А для питья шипучий квас в хрустальных
Кувшинах, мартовское пиво, мед
Душистый и вино из всех земель:
Шампанское, венгерское, мадера,
И ренское, и всякие наливки —
Короче молвить, скатерть-самобранка
Так отличилася, что было чудо.
Но и дубинка не лежала праздно:
Вся гвардия была за царской стол

---

[23] Гейду́к – слуга.

[24] Подо́вый – пирог, испеченный на поду, то есть в топке печи, когда дрова прогорели и печь раскалена.

Приглашена, вся даже городская
Полиция – дубинка молодецки
За всех одна служила: во дворце
Держала караул; она ж ходила
По улицам, чтоб наблюдать везде
Порядок: кто ей пьяный нападался,
Того она толкала в спину прямо
На съезжую[25]; кого ж в пустом где доме
За кражею она ловила, тот
Был так отшлепан, что от воровства
Навеки отрекался и вступал
В путь добродетели – дубинка, словом,
Неимоверные во время пира
Царю, гостям и городу всему
Услуги оказала. Между тем
Всё во дворце кипело, гости ели
И пили так, что с их румяных лиц
Катился пот; тут гусли-самогуды
Явили всё усердие свое:
При них не нужен был оркестр, и гости
Уж музыки наслышались такой,
Какая никогда им и во сне
Не грезилась. Но вот, когда, наполнив
Вином заздравный кубок, царь Демьян
Данилович хотел провозгласить

[25] Съе́зжая – полицейский участок.

Сам многолетье новобрачным, громко
На площади раздался трубный звук;
Все изумились, все оторопели;
Царь с молодыми сам идет к окну,
И что же их является очам?
Карета в восемь лошадей (трубач
С трубою впереди) к крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачет;
И та карета золотая; козлы
С подушкою и бархатным покрыты
Наметом; назади шесть гейдуков;
Шесть скороходов по бокам; ливреи
На них из серого сукна, по швам
Басоны[26]; на каретных дверцах герб:
В червленом поле[27] волчий хвост под графской
Короною. В карету заглянув,
Иван-царевич закричал: «Да это
Мой благодетель Серый Волк!» Его
Встречать бегом он побежал. И точно,
Сидел в карете Серый Волк; Иван-
Царевич, подскочив к карете, дверцы
Сам отворил, подножку сам откинул
И гостя высадил; потом он, с ним

---

[26] Басóн – текстильное изделие, предназначенное для украшения (шнур, тесьма, кисть и проч.).

[27] Червлёное пóле – здесь: красный фон.

Поцеловавшись, взял его за лапу,
Ввел во дворец и сам его царю
Представил. Серый Волк, отдав поклон
Царю, осанисто на задних лапах
Всех обошел гостей, мужчин и дам,
И всем, как следует, по комплименту
Приятному сказал; он был одет
Отлично: красная на голове
Ермолка с кисточкой, под морду лентой
Подвязанная; шелковый платок
На шее; куртка с золотым шитьем;
Перчатки лайковые с бахромою;
Перепоясанные тонкой шалью
Из алого атласа шаровары;
Сафьянные на задних лапах туфли,
И на хвосте серебряная сетка
С жемчужной кистью – так был Серый Волк
Одет. И всех своим он обхожденьем
Очаровал; не только что простые
Дворяне маленьких чинов и средних,
Но и чины придворные, статс-дамы
И фрейлины все были от него
Как без ума. И, гостя за столом
С собою рядом посадив, Демьян
Данилович с ним кубком в кубок стукнул
И возгласил здоровье новобрачным,

И пушечный заздравный грянул залп.
Пир царский и народный продолжался
До темной ночи; а когда настала
Ночная тьма, жар-птицу на балконе
В ее богатой клетке золотой
Поставили, и весь дворец, и площадь,
И улицы, кипевшие народом,
Яснее дня жар-птица осветила.
И до утра столица пировала.
Был ночевать оставлен Серый Волк;
Когда же на другое утро он,
Собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-
Царевичем, его Иван-царевич
Стал уговаривать, чтоб он у них
Остался на житье, и уверял,
Что всякую получит почесть он,
Что во дворце дадут ему квартиру,
Что будет он по чину в первом классе,
Что разом все получит ордена,
И прочее. Подумав, Серый Волк
В знак своего согласия Ивану-
Царевичу дал лапу, и Иван-
Царевич так был тронут тем, что лапу
Поцеловал. И во дворце стал жить
Да поживать по-царски Серый Волк.
Вот наконец, по долгом, мирном, славном

Владычестве, премудрый царь Демьян
Данилович скончался, на престол
Взошел Иван Демьянович; с своей
Царицей он до самых поздних лет
Достигнул, и Господь благословил
Их многими детьми; а Серый Волк
Душою в душу жил с царем Иваном
Демьяновичем, нянчился с его
Детьми, сам, как дитя, резвился с ними,
Меньшим рассказывал нередко сказки,
А старших выучил читать, писать
И арифметике, и им давал
Полезные для сердца наставленья.
Вот напоследок, царствовав премудро,
И царь Иван Демьянович скончался;
За ним последовал и Серый Волк
В могилу. Но в его нашлись бумагах
Подробные записки обо всем,
Что на своем веку в лесу и свете
Заметил он, и мы из тех записок
Составили правдивый наш рассказ.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)

Ашик-Кериб[28]

Давно тому назад, в городе Тифлизе[29] жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза.

Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку, – и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул. В это время шла мимо Магуль-Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему.

---

[28] Аши́к-Кери́б – ашик (ашуг) – народный певец; кериб – странник, бедняк.

[29] Тифли́з (Тифлис) – Тбилиси.

– Что ты спишь под виноградником, – запела она, – вставай, безумный, твоя газель[30] идет мимо.

Он проснулся – девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить.

– Если б ты знала, – отвечала та, – кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб.

– Веди меня к нему, – сказала Магуль-Мегери.

И они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать.

– Как мне не грустить, – отвечал Ашик-Кериб, – я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею.

– Проси мою руку у отца моего, – говорила она, – и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет.

– Хорошо, – отвечал он, – положим, Аяк-Ага[31] ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаюсь семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею.

Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

---

[30] Газе́ль – здесь: красавица, любимая.

[31] Ага́ – господин.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник, – он смотрит: это Куршуд-бек[32].

– Добрый путь! – кричал ему бек. – Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ.

Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду.

– Плыви вперед, – сказал Куршуд-бек, – я за тобою последую.

Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад – о горе! о всемогущий Аллах! – Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю.

Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери.

– Твой сын утонул в глубокой реке, – говорит он, – вот его одежда.

В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери.

– Мой сын утонул, – сказала она ей. – Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна.

---

[32] Бек – землевладелец.

Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала:

– Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем.

Она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили; он за это пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец в Халаф. По обыкновению, взошел в кофейный дом, спросил сааз[33] и стал петь. В это время жил в Халафе паша[34], большой охотник до песельников. Многих к нему приводили, – ни один ему не понравился. Его чауши[35] измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда.

– Иди с нами к великому паше, – закричали они, – или ты отвечаешь нам головою!

– Я человек вольный, странник из города Тифлиза, – говорит Ашик-Кериб, – хочу пойду, хочу нет; пою, когда придется, – и ваш паша мне не начальник.

Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше.

– Пой, – сказал паша.

И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Ма-

---

[33] Саа́з – струнный щипковый музыкальный инструмент.

[34] Паша́ – титул высших сановников и генералов.

[35] Ча́уш – полицейский служитель, курьер.

гуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба.

Посыпалось к нему серебро и золото, заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду.

Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восьмьюдесятью невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо.

– Возьми ты это блюдо, – говорит она, – и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом.

Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объявил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай[36]: и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца.

– Это мое! – сказал он, схватив его рукою.

– Точно, твое, – сказал купец, – я узнал тебя, Ашик-Кериб. Ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери веле-

---

[36] Карава́н-сара́й – постоялый и торговый дом.

ла тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого.

В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой суму с золотыми монетами – и поскакал, не жалея коня. Наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дня.

– Аллах всемогущий! – воскликнул он. – Если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать!

И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос:

– Оглан[37], что ты хочешь делать?

– Хочу умереть, – отвечал Ашик.

– Слезай же сюда, если так, я тебя убью.

Ашик спустился кое-как с утеса.

– Ступай за мною, – сказал грозно всадник.

– Как я могу за тобою следовать, – отвечал Ашик, – твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою.

– Правда. Повесь же суму свою на седло мое и следуй.

Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать.

– Что ж ты отстаешь? – спросил всадник.

– Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен.

---

[37] Огла́н – мальчик, парень.

– Правда; садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать?

– Хоть бы в Арзерум поспеть нынче, – отвечал Ашик.

– Закрой же глаза.

Он закрыл.

– Теперь открой.

Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума.

– Виноват, Ага, – сказал Ашик, – я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс.

– То-то же, – отвечал всадник, – я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза… Теперь открой.

Ашик себе не верит – то, что это Карс. Он упал на колени и сказал:

– Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб; но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня: мне по-настоящему надо в Тифлиз.

– Экой ты неверный! – сказал сердито всадник. – Но нечего делать, прощаю тебя: закрой же глаза. Теперь открой, – прибавил он по прошествии минуты.

Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику:

– Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще

больше; если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство.

– Наклонись, – сказал тот, улыбнувшись, – и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза – она увидит.

Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову – всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащею рукою, говоря:

– Ана, ана (мать), отвори: я Божий гость; и холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына, впусти меня.

Слабый голос старухи отвечал ему:

– Для ночлега путников есть дома богатых и сильных; есть теперь в городе свадьбы – ступай туда! Там можешь провести ночь в удовольствии.

– Ана, – отвечал он, – я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына, впусти меня!

Тогда сестра его говорит матери:

– Мать, я встану и отворю ему двери.

– Негодная! – отвечала старуха. – Ты рада принимать мо-

лодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение.

Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери и впустила Ашик-Кериба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит, в пыльном чехле, его сладкозвучная сааз. И стал он спрашивать у матери:

– Что висит у тебя на стене?

– Любопытный ты гость, – отвечала она, – будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с Богом.

– Я уж сказал тебе, – возразил он, – что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?

– Это сааз, сааз, – отвечала старуха сердито, не веря ему.

– А что значит сааз?

– Сааз то значит, что на ней играют и поют песни.

И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему.

– Нельзя, – отвечала старуха, – это сааз моего несчастного сына; вот уже семь лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась.

Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву:

– О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней! –

И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: – Я бедный Кериб (нищий) – и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника.

После этого мать его зарыдала и спрашивает его:

– Как тебя зовут?

– Рашид (храбрый), – отвечал он.

– Раз говори, другой раз слушай, Рашид, – сказала она, – своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет, я ослепла от слез. Скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?

И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила. И спустя несколько времени просит он:

– Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами.

– Не позволю, – отвечала старуха, – с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходила из дому.

Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны.

– А если хоть одна струна порвется, – продолжал Ашик, – то отвечаю моим имуществом.

Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где

шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил:

– Селям алейкюм! Вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню.

– Почему же нет, – сказал Куршуд-бек. – Сюда должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота.

Тогда Куршуд-бек спросил его:

– А как тебя зовут, путник?

– Шинды-Гёрурсез (скоро узнаете).

– Что это за имя! – воскликнул тот со смехом. – Я в первый раз такое слышу.

– Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал; им отвечали – шинды-гёрурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя. –

После этого он взял сааз и начал петь: – В городе Халафе я пил мисирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день.

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув:

– Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда?

– За что ж ты меня хочешь убить? – сказал Ашик. – Певцы обыкновенно со всех четырех сторон собираются в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте.

– Пускай продолжает, – сказал жених.

И Ашик-Кериб запел снова:

– Утренний намаз[38] творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзеруме; перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай Бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору; Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую.

– Так-то ты сдержала свою клятву, – сказали ее подруги. – Стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека!

– Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, – отвечала Магуль-Мегери, и, взяв ножницы, она прорезала чапру.

---

[38] Нама́з – молитва.

Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств.

Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, промолвив:

– Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует.

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

– Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, – сказал жених, – но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?

– В доказательство истины, – отвечал Ашик, – сабля моя перерубит камень; если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала свету Божьего, и я возвращу ей зрение.

Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери.

– Матушка! – закричала она. – Это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб, – и, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный.

Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, примолвив:

– Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз.

И мать его прозрела. После того никто не смел сомневать-

ся в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему:

– Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя – и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери.

Петр Павлович Ершов
(1815–1869)
Конек-горбунок

Часть первая
Начинается сказка сказываться

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой

Возвращалися домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:
Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродяся не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночами поберечь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат сбираться:
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала,
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник[39].
Ночь проходит, день приходит;
С сенника́ дозорный сходит

[39] Сенни́к – навес или чердак, под которым хранится сено.

И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал;
На мое ж притом несчастье,
Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, всё благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнова смеркаться,
Средний брат пошел сбираться:
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать —
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте;
Ночью страшный был мороз —
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,
Да, к моей судьбе несчастной,

Ночью холод был ужасный,
До сердцов меня пробрал;
Всю я ночку проскакал;
Слишком было несподручно…
Впрочем, всё благополучно».
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!»

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему сбираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Но сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побега́й в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков[40],
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,

[40] Лубки́ – здесь: ярко раскрашенные картинки.

Малахай[41] свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле всё Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом:
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал…
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
«Эхе-хе! так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает,

[41] Малахáй – здесь: длинная, широкая одежда без пояса.

За волнистый хвост хватает
И прыгну́л к ней на хребёт —
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
Вьется кругом над полями,
Виснет пластью[42] надо рвами,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном.
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван, – ему сказала, —
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою
Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпущай меня на волю

[42] Пла́стью – пластом.

Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка[43],
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку[44].
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет,
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

---

[43] Вершо́к – старорусская мера длины, до XVIII века измерявшаяся по основной фаланге указательного пальца; после XVIII века – приравнивается к 4,445 см. Рост людей и животных в холке измерялся в вершках сверх двух аршинов. То есть рост конька-горбунка равен 155,3 см.

[44] Ба́бка – игральная кость.

«Ладно», – думает Иван
И в пастуший балаган[45]
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает,
И, лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню:
«Ходил молодец на Пресню».
Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,
Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаяся, вскричали:
«Кто стучится сильно так?» —
«Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать, —
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь

[45] Балага́н – здесь: шалаш, сарай.

И ведет оттуда речь
Про ночное похожденье,
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на́ небе считал;
Месяц, ровно, тоже све́тил, —
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то, что те плошки!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жомах[46].
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:
«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить».

---

[46] Жо́мы – тиски, пресс.

Я, слышь, слов-то не померил,
Да чертенку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли – захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться,
Хоть смеяться – так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало, —
Я про это ничего
Не слыхал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело, —
Ведь за ними не бежать…
Станем сказку продолжать.

Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно[47] пьян,

[47] Зе́льно – сильно, весьма.

Затащился в балаган.
Что ж он видит? – Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! теперь-то я узнал,
Для чего здесь дурень спал!» —
Говорит себе Данило…
Чудо разом хмель посбило.
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал:
Ты и слыхом не слыхал».
И Данило да Гаврило,
Что в ногах им мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.
Спотыкнувшися три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,

Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть!
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал? —
Старший среднему сказал. —
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седмицу[48]
Отведем-ка их в столицу;
Там боярам продадим,
Деньги ровно подели́м,
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки;

[48] Седми́ца – неделя.

Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!»
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулися домой,
Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чудную зверушку.

Время катит чередом,
Час за часом, день за днем.
И на первую седмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами,
И нейдет ли царь Салтан
Басурманить христиан?
Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;

Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Всё по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал,
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке[49]!
Чтоб ему на том свету
Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!»
Тут конек ему заржал.

---

[49] Буера́к – небольшой овраг.

«Не тужи, Иван, – сказал, —
Велика беда, не спорю,
Но могу помочь я горю.
Ты на черта не клепли[50]:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:
Как пущусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби[51] берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами,

---

[50] Не клепли́ – не обвиняй напрасно, не клевещи.

[51] За́гребь – горсть.

И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.

Братья, то есть, испугались,
Зачесались и замялись.
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша,
Что переться[52], – дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот[53].
Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли неурожай,
Так хоть в петлю полезай!
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь —
Чем бы горюшку помочь?
Так и этак мы вершили,

---

[52] Пере́ться – спросить, отпираться.

[53] «…некоры́стный наш живо́т» – бедную нашу жизнь.

Наконец вот так решили:
Чтоб продать твоих коньков
Хошь за тысячу рублев.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет[54],
Работа́ть уже не может,
А ведь надо ж мыкать век, —
Сам ты умный человек!» —
«Ну, коль этак, так ступайте, —
Говорит Иван, – продайте
Златогривых два коня,
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало на небе темнеть;
Воздух начал холодеть;
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,

[54] Немо́чь – болеть.

Опохме́лились немножко
И пошли, что Боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засве́тил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько;
Тут в затылке почесал,
«Эх, как тёмно – он сказал. —
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Все бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь…
Да постой-ка… Мне сдается,
Что дымок там светлый вьется..
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево[55] развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегай-ка, брат Ванюша!
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:

---

[55] Ку́рево – здесь: огонь, костер.

«Чтоб тебя там задавило!»
А Гаврило говорит:
«Кто-петь[56] знает, что горит!
Коль станичники[57] пристали —
Поминай его, как звали!»

Всё пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьет в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил…
Конь взвился – и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым. —
Что за бес такой под ним!»
Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле словно днем;
Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится,
Диву дался тут Иван.
«Что, – сказал он, – за шайтан!

---

[56] Петь – усилительная частица.

[57] Стани́чники – здесь: разбойники.

Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо огонек!»

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою». —
«Говори ты! как не так!» —
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час —
Нет ведь, черт возьми, угас!»
Братья целу ночь не спали,

Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.
Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,
Становились в конный ряд,
Супротив больших палат.
В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости[58]! Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте.
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому[59],

---

[58] Гость – старинное название купца, торговца.

[59] Содо́м – здесь: сильный шум, беспорядок, суматоха.

Ни давёжа[60], ни погрому,
И чтобы́ никой урод
Не обманывал народ!»

Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!»
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.
Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;
Смотрят – давка от народу,
Нет ни выходу, ни входу;
Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй! вы, черти босоноги!

[60] Давёж – давеча, недавно.

Прочь с дороги! Прочь с дороги!» —
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой…
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.
«Чуден, – молвил, – Божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!»
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престрого всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.

Приезжает во дворец.
«Ты помилуй, царь-отец! —
Городничий восклицает
И всем телом упадает. —
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно». —
«Как умею, расскажу:
Городничим я служу;
Верой-правдой исправляю
Эту должность…» – «Знаю, знаю!» —
«Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю – тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал.
Так и сталось, царь-надёжа!
И поехал я – и что же?
Предо мною конный ряд;
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,

Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть.
«Надо ко́ней поглядеть, —
Говорит он, – да не худо
И завесть такое чудо.
Гей, повозку мне!» И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился
И на рынок покатился;
За царем стрельцов отряд.
Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг…
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь

К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
«Эта пара, царь, моя,
И хозяин – тоже я». —
«Ну, я пару покупаю!
Продаешь ты?» – «Нет, меняю». —
«Что в промен берешь добра?» —
«Два-пять шапок серебра». —
«То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!
Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,
Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами.
Но дорогой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить.
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну мою
Я в приказ тебе даю[61].
Царско слово в том порука.
Что, согласен?» – «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чудно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить…
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!»

---

[61] «… в приказ тебе даю» – отдаю под надзор.

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,
Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его – горбатко —
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски их зашили,
Постучали ендовой[62]
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать,
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской
При конюшне государской;

---

[62] «…постучáли ендовóй» – выпили. Ендовá – сосуд для вина.

Как в суседки[63] он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро́ поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на́ небе послом,
Как он в солнцевом селенье
Ки́ту выпросил прощенье;
Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился[64];
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.

---

[63] Сусе́дко – сибирское название домового.

[64] Учини́ться – сделаться.

Часть вторая
Скоро сказка сказывается, А не скоро дело делается

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего коурка[65]
Козы на́ море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с златой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-окияне
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;

---

[65] Коу́рко – рыжий вещий конь в сказках.

Черный зверь[66] в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка чередом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне[67],
Православны христиане,
Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,
Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье, да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник[68] примечать…
Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник

---

[66] Чёрный зверь – медведь.

[67] Миря́не – крестьяне.

[68] Спа́льник – царский слуга.

Над конюшной надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился,
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но, лукавство сокрывая,
Он для всякого случая
Притворился, плут, глухим,
Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!»

Так, неделей через пять,
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит[69];
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,
Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть – ну, ло́снится, как шелк;
В стойлах – свежая пшеница,
Словно тут же и родится,

[69] Шко́лить – учить.

И в чанах больших сыта[70],
Будто только налита.
«Что за притча[71] тут такая? —
Спальник думает, вздыхая. —
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто́, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить[72], —
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь Божию не ходит,
Католицкой держит крест
И постами мясо ест».

В тот же вечер этот спальник,
Прежний конюших начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.

---

[70] Сыта́ – настоенный на меду взвар.

[71] При́тча – здесь: странный случай.

[72] «…пу́лю […] слить» – здесь: налгать.

Вот и полночь наступила.
У него в груди заныло:
Он ни жив ни мертв лежит,
Сам молитвы всё творит,
Ждет суседки… Чу! в сам-деле,
Двери глухо заскрипели,
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,
На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад – перо Жар-птицы.
Свет такой тут заблистал,
Что чуть спальник не вскричал,
И от страху так забился,
Что овес с него свалился.
Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек[73],
Чистить ко́ней начинает,
Умывает, убирает,
Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свернувшись клубом,

---

[73] Сусе́к – место для хранения зерна.

Поколачивая зубом,
Смотрит спальник, чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто́ нарочно
Прирядился плут полночный:
Нет рогов, ни бороды,
Ражий[74] парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы[75],
Сапоги как ал сафьян, —
Ну, точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей[76] на домового…
«Э! так вот что! – наконец
Проворчал себе хитрец. —
Ладно, завтра ж царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!»
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, всё плетет
Гривы в косы да поет.

---

[74] Ра́жий – здоровый, видный, сильный.

[75] Прозуме́нты (позуме́нты) – тесьма, шитая золотом ли серебром.

[76] Глазе́й – человек, подсматривающий за кем-либо.

А убрав их, в оба чана
Нацедил сыты медвяной
И насыпал дополна
Белоярова пшена[77].
Тут, зевнув, перо Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку по́д ухо – и лег
У коней близ задних ног.

Только на́чало зориться[78],
Спальник начал шевелиться,
И, услыша, что Иван
Так храпит, как Еруслан[79],
Он тихонько вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хвать перо – и след простыл.
Царь лишь только пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепко о́б пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,

---

[77] Белоя́рое пшено́ – зёрна кукурузы.

[78] Зори́ться – рассветать.

[79] Еруслáн – богатырь, герой сказки.

Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить». —
«Говори, не прибавляя, —
Царь сказал ему, зевая. —
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит царю: «Помилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, царь, донос.
Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не злато, не сребро —
Жароптицево перо…» —
«Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый…
Погоди же ты, злодей!
Не минуешь ты плетей!..» —
«Да и то ль еще он знает! —
Спальник тихо продолжает,
Изогнувшися. – Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похваляется достать».

И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым[80],
Ко кровати подошел,
Подал клад – и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклав его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!»

И посыльные дворяна
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем много любовался
И до ко́лотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для царя,
Меж собой перемигнулись
И вдругорядь[81] растянулись.

---

[80] Тало́вый – ивовый.

[81] Вдруго́рядь – снова, в другой раз.

Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.
Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз
Обошлися без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчаса над ним возились,
Но его не добудились,
Наконец уж рядовой
Разбудил его метлой.

«Что за челядь[82] тут такая? —
Говорит Иван, вставая. —
Как хвачу я вас бичом,
Так не станете потом
Без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать
Нам тебя к нему позвать». —
«Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся

[82] Че́лядь – слуги.

И тотчас к нему явлюся», —
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к царю явился,
Поклонился, подбодрился,
Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым,
Закричал к нему со гневом,
Приподнявшися: «Молчать!
Ты мне должен отвечать:
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я – царь али боярин?
Отвечай сейчас, татарин!»
Тут Иван, махнув рукой,
Говорит царю: «Постой!
Я те шапки ровно не дал,
Как же ты о том проведал?

Что ты – ажно[83] ты пророк?
Ну, да что, сади в острог[84],
Прикажи сейчас хоть в палки, —
Нет пера, да и шабалки[85]!..» —
«Отвечай же! Запорю!..» —
«Я те толком говорю:
Нет пера! Да, слышь, откуда
Мне достать такое чудо?»
Царь с кровати тут вскочил
И ларец с пером открыл.
«Что? Ты смел еще переться?
Да уж нет, не отвертеться!
Это что? А?» Тут Иван
Задрожа́л, как лист в буран,
Шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно, туго? —
Молвил царь. – Постой-ка, брат!..» —
«Ох, помилуй, виноват!
Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж врать не стану».
И, закутавшись в полу,
Растянулся на полу.
«Ну, для первого случа́ю

---

[83] А́жно – разве.

[84] Остро́г – тюрьма.

[85] Шаба́лки – шабаш, конец.

Я вину тебе прощаю, —
Царь Ивану говорит. —
Я, помилуй Бог, сердит!
И с сердцо́в иной порою
Чуб сниму и с головою.
Так вот, видишь, я каков!
Но, сказать без дальних слов,
Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
Если б вздумал приказать,
Похваляешься достать.
Ну, смотри ж, не отпирайся
И достать ее старайся».
Тут Иван волчком вскочил.
«Я того не говорил! —
Закричал он, утираясь. —
О пере не запираюсь,
Но о птице, как ты хошь,
Ты напраслину ведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что! Рядиться[86] мне с тобою? —
Закричал он. – Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,

[86] Ряди́ться – торговаться, препираться, договариваться.

То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж[87] – в решетку – на́ кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но, как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.
«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек,
У его вертяся ног. —
Не утайся предо мною,
Все скажи, что за душою.
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! – сказал. —
Царь велит достать Жар-птицу
В государскую светлицу.

---

[87] Правёж – битье батогами (кнутами).

Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня:
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
«Не бери, Иван, – беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
Вот теперя ты узнал,
Правду ль я тебе сказал.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это – службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди.
Ты к царю теперь поди
И скажи ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».

Тут Иван к царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! Полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял корыта, и пшено,
И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток —

Доставать тоё Жар-птицу.

Едут целую седмицу.
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой,
Тут сказал конек Ивану:
«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора,
Вся из чистого сребра;
Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жа́ры-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут
Словно камень изумруд;
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет,
А по зелени цветы
Несказа́нной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на окияне,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами

Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.
Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Вёрсту, дру́гу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,
Втихомолку примечай,
Да смотри же, не зевай.
До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать
Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймаешь птицу-жар —
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся». —
«Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван,

Расстилая свой кафтан. —
Рукавички взять придется,
Чай, плутовка больно жгется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночною порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жары-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать —
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!
Ножки красные у всех;
А хвосты-то – сущий смех!

Чай, таких у куриц нету;
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!»
И, скончав такую речь
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!
Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! —
Говорит ему конек. —
Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай тужее;
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь». —
«Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —
Говорит Иван. – Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!»
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,
Встрепенулася вся стая,

Кру́гом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,
Уложили царский клад
И вернулися назад.

Вот приехали в столицу.
«Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал», —
Наш Иван царю сказал.
«Где ж она?» – «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.
Вот Иван мешок на стол.

«Ну-ка, бабушка, пошел!»
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решеточных[88] сзывайте!
Заливайте! Заливайте!» —
«Это, слышь ты, не пожар,
Это свет от птицы-жар, —
Молвил ловчий, сам со смеху
Надрываяся. – Потеху
Я привез те, осударь!»
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой —
Будь же царский стремянной[89]!»
Это видя, хитрый спальник,
Прежний конюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться,

---

[88] Решёточный – тюремный сторож, он же пожарный.

[89] Ца́рский стремянно́й – придворный слуга, ухаживающий за главной лошадью.

Я те снова подведу,
Мой дружочек, под беду!»

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора,
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.
«Эх! – один слуга сказал, —
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки – вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!»
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!» —
«Ну, какую ж вы хотите?
Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка о бобре,
А вторая о царе,
Третья… дай Бог память… точно!
О боярыне восточной;
Вот в четвертой: князь Бобыл;

В пятой… в пятой… эх, забыл!
В пятой сказке говорится…
Так в уме вот и вертится…» —
«Ну, да брось ее!» – «Постой!..» —
«О красотке, что ль, какой?» —
«Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу сегодня я?» —
«Царь-девицу! – все кричали. —
О царях мы уж слыхали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей».
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только басурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни миряне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;

Но девица не простая,
Дочь, вишь, Месяцу родная,
Да и Солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельцах играет…»

Спальник тут с полатей скок —
И со всех обеих ног
Во дворец к царю пустился
И как раз к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!» —
«Говори, да правду только
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы сегодня в кухне были,

За твое здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он на́звал Царь-девицу, —
И ее, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремяннова!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали до Ивана;
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас
Отыскать другую птицу,

Сиречь молвить[90], Царь-девицу…» —
«Что ты, что ты, Бог с тобой! —
Начал царский стремянной. —
Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе, как хошь,
А меня не проведешь».
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. – Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж – в решетку – на́ кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.
«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек. —
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван коньку на шею,

---

[90] Сире́чь мо́лвить – сказать другими словами.

Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! – сказал. —
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это – службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты к царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки[91],
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,

[91] Шири́нка – широкое полотенце.

Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья». —
«Вот давно бы так, чем нет», —
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья;
Все в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток

И поехал на восток
По тоё ли Царь-девицу.

Едут целую седмицу;
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к окияну,
И на нем-то круглый год
Та красавица живет;
Два раза́ она лишь сходит
С окияна и приводит
Долгий день на землю к нам.
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.
Тут Иван с конька слезает,
А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохлажденья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.

Видишь, шлюпка вон мелькает…
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,
Пусть покушает, попьет;
Вот, как в гусли заиграет —
Знай, уж время наступает.
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай,
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз,
И поедем… Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе,
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай дыру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает;
Царь-девица подплывает,
Входит с гуслями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!

Как же в сказках говорится, —
Рассуждает стремянной, —
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Тут царица заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак,
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал.
Вдруг конек над ним заржал
И, толкнув его копытом,
Крикнул голосом сердитым:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды!
Не меня ведь вздернут на кол!»
Тут Иванушка заплакал

И, рыдаючи, просил,
Чтоб конек его простил.
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану». —
«Ну, уж Бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит. —
Всё поправим, может статься,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица —
Меду сладкого напиться.
Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван сбирать пустился
Острых камней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколоться,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру
Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гуслями в шатер

И садится за прибор…
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелося поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая. —
Ты вдруго́рядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает…
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!»
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей!
Да держи ее плотней!»

Вот столицы достигает.
Царь к царевне выбегает.
За белы руки берет,
Во дворец ее ведет
И садит за стол дубовый
И под занавес шелковый,
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:

«Бесподобная девица!
Согласися быть царица!
Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи
И во время бела дня,
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Всё для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой
И начнем жить припевая».
А царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от царя.
Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы[92] начал снова:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?
Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!»

---

[92] Баля́сы – разговоры.

Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!» —
«Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на окиян;
В окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего». —
«Я и с первой-то дороги
Волочу насилу ноги —
Ты опять на окиян!» —
Говорит царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться! —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал. —
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!»

Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути, —
Говорит ему царица, —
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой
Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!» – «Помнить буду,
Если только не забуду;
Да ведь надо же узнать,
Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться».
Говорит ему царица:
«Месяц – мать мне, Солнце – брат». —
«Да смотри, в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил.
Тут Иван царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил?» —
Говорит ему конек.
«Помоги мне, горбунок!
Видишь, вздумал царь жениться,
Знашь, на тоненькой царице,
Так и шлет на окиян, —
Говорит коньку Иван, —
Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, Месяцу, притом
И спрошать кое об чем…»
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это – службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты теперя спать поди;
А назавтра, утром рано,
Мы поедем к окияну».
На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,
Потеплее приоделся,

На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь…
Дайте, братцы, отдохнуть!

Часть третья
Доселева Макар огороды копал, А нынече Макар в воеводы попал

Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй! Послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!»
Это присказка ведется,
Сказка пóслее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:

Посадила на шесток,
Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула:
«Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!»
Это присказка велася,
Вот и сказка началася.

Ну-с, так едет наш Иван
За кольцом на окиян.
Горбунок летит, как ветер,
И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,

Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в Солнцевом селенье
Попросил ему прощенье;
Ты исполнить обещай,
Да, смотри ж, не забывай!»
Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на гу́бе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по ки́ту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит
Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько воздыхая:
«Путь-дорога, господа!

Вы откуда и куда?» —
«Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы, —
Говорит киту конек, —
К Солнцу прямо на восток,
Во хоромы золотые». —
«Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть,
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?» —
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
«Будь отец мне милосердный!
Вишь, как мучуся я, бедный!
Десять лет уж тут лежу…
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько воздыхает.
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег и пустился;
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далеко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно[93] творится.
Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,
Где крестьянки лен прядут,
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво, —
Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян, —
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то и грязна;

[93] Ме́шкотно – медленно.

Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница…
Чай, небесная светлица…
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,
Нашей будущей царицы, —
Горбунок ему кричит, —
По ночам здесь Солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод:
Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые;
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады;
На серебряных там ветках,
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.
А ведь терем с теремами

Будто город с деревнями;
А на тереме из звезд —
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я – Иванушка Петрович,
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон». —
«Сядь, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
И поведай мне вину[94]
В нашу светлую страну
Твоего с земли прихода;
Из какого ты народа,
Как попал ты в этой край, —
Всё скажи мне, не утай». —
«Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской, —
Говорит, садясь, Иван, —
Переехал окиян
С порученьем от царицы —

[94] Вина́ – здесь: причина.

В светлый терем поклониться
И сказать вот так, постой!
«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»
Так, кажися? Мастерица
Говорить красно́ царица;
Не припомнишь всё сполна,
Что сказала мне она». —
«А какая то царица?» —
«Это, знаешь, Царь-девица». —
«Царь-девица?.. Так она,
Что ль, тобой увезена?» —
Вскрикнул Месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович
Говорит: «Известно, мной!
Вишь, я царский стремянной;
Ну, так царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;

А не то меня отец
Посадить грозился на́ кол».
Месяц с радости заплакал,
Ну Ивана обнимать,
Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Ты принес такую весть,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли!..
Оттого-то, видишь, я
По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Всё грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала,
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру Божью не светил:
Всё грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли, не больна?» —
«Всем бы, кажется, красотка,

Да у ней, кажись, сухотка[95]:
Ну, как спичка, слышь, тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет:
Царь, слышь, женится на ней».
Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том —
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!»
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошенье,
То о ки́товом прощенье…
Есть, вишь, море; Чудо-кит
Поперек его лежит:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты…
Он, бедняк, меня прошал,
Чтобы я тебя спрошал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?

---

[95] Суха́тка – болезненная худоба.

И на что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит:
«Он за то несет мученье,
Что без Божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет Бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:
«Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крушиться:
Скоро грусть твоя решится, —
И не старый, с бородой,

А красавец молодой
Поведет тебя к налою[96]»,
Ну, прощай же! Бог с тобою!»
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, будто витязь знатный,
И пустился в путь обратный.

На другой день наш Иван
Вновь пришел на окиян.
Вот конек бежит по ки́ту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит
Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прошенье?
Получу ль когда прощенье?» —
«Погоди ты, Рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,

---

[96] Нало́й (анало́й) – столик в церкви, вокруг которого жених и невеста обходит при венчании.

Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ,
Убирайся вмиг отсюда.
Здесь тотчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется Рыба-кит…»
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть беда́м!»
И пустились по домам.
Все телеги собирали;
В них, не мешкая, поклали
Всё, что было живота,
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной!

Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо Рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без Божия веленья

Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет Бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился – и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился;
Поп с причетом всем служебным
Пел на палубе молебны;

А гребцов веселый ряд
Грянул песню наподхват:
«Как по моречку, по морю,
По широкому раздолью,
Что по самый край земли,
Выбегают корабли…»

Волны моря заклубились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо Рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,
Плесом волны разбивая:
«Чем вам, други, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Всё достать для вас готов!» —
«Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо, —
Говорит ему Иван, —
Лучше перстень нам достань, —
Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей царицы». —
«Ладно, ладно! Для дружка

И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы», —
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.

Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,
Награжу того я чином:
Будет думным дворянином.
Если ж умный мой приказ
Не исполните… я вас!..»
Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К ки́ту медленно подплыли
И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!

Мы всё море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только Ерш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло». —
«Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —
Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский[97] суд бежать пустились
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И Ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он звался)
Под указом подписался;
Черный рак указ сложил

[97] Зе́мский – местный.

И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав указ, сказали,
Чтоб, от имени царя,
Обежали все моря
И того Ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было, нашли,
К государю привели.
Тут дельфины поклонились
И Ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли Ерша сыскать
И вернулися назад,
Чуть не плача от печали…
Вдруг дельфины услыхали,
Где-то в маленьком пруде
Крик неслыханный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули, —
Глядь: в пруде, под камышом,
Ерш дерется с Карасем.

«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, содом какой подняли,
Словно важные бойцы!» —
Закричали им гонцы.
«Ну, а вам какое дело? —
Ерш кричит дельфинам смело. —
Я шутить ведь не люблю,
Разом всех переколю!» —
«Ох ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Всё бы, дрянь, тебе гулять,
Всё бы драться да кричать.
Дома – нет ведь, не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться, —
Вот тебе царев указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».

Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ерш ну рваться и кричать:
«Будьте милостивы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот Карась
Поносил меня вчерась
При честно́м при всем собранье

Неподобной разной бранью…»
Долго Ерш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Всё тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени Ерш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье.
«Ну, уж Бог тебя простит! —
Кит державный говорит. —
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье». —
«Рад стараться, Чудо-кит!» —
На коленях Ерш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,
Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?» – «Как не знать!
Можем разом отыскать». —
«Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!»

Тут, отдав царю поклон,
Ерш пошел, согнувшись, вон.
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он на пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне —
Пуд по крайней мере во сто.
«О, здесь дело-то не просто!»
И давай из всех морей
Ерш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
«У-у-у!» да «О-о-о!».
Но сколь сильно ни кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —

Крикнул Ерш со всех сердцов
И нырнул по осетров.

Осетры тут приплывают
И без крика подымают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребятушки, смотрите,
Вы к царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает…»
Осетры к царю плывут,
Ерш-гуляка прямо в пруд
(Из которого дельфины
Утащили за щетины).
Чай, додраться с Карасем, —
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.
Тихо море-окиян.
На песке сидит Иван,
Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,

Дремлет верный горбунок.
Время к вечеру клонилось;
Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван. —
Обещался до зарницы
Вынесть перстень Царь-девицы,
А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И…» Тут море закипело:
Появился чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье».
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок,
Только берег закачался.
«Ну, теперь я расквитался.
Если ж вновь принужусь я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья

Не забыть мне… До свиданья!»
Тут Кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгну́л.
«Ай да Кит Китович! Славно!
Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, Рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит. —
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число[98].
Чай, старик уж умирает».
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять;
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,
Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!»

---

[98] Сро́чное число́ – срок.

Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камышек какой,
И взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный путь далек».
Стал четвертый день зориться,
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит, —
«Что кольцо мое?» – кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть на́ вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И не медля приказал
Сундучок отнесть в светлицу.
Сам пошел по Царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найдён, —
Сладкогласно молвил он, —
И теперь, примолвить снова,
Нет препятства никакого
Завтра утром, светик мой,

Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружочек,
Свой увидеть перстенечек?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:
«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться». —
«Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой,
Мне, прости ты мою смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты… то я умру
Завтра ж с горя поутру.
Сжалься, матушка царица!»
Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед;
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внучку взял!»
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!» —
«Пусть не станут и смеяться,

Всё не можно нам венчаться, —
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?» —
Говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал! —
Царь царице отвечал. —
Как немножко приберуся,
Хоть кому так покажуся
Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».
Говорит ему девица:
«А такая в том нужда,
Что не выйду никогда
За дурного, за седого,
За беззубого такого!»
Царь в затылке почесал
И, нахмуряся, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же, ровно на беду:
Не пойду да не пойду!» —
«Не пойду я за седого, —
Царь-девица молвит снова. —
Стань, как прежде, молодец, —

Я тотчас же под венец». —
«Вспомни, матушка царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо Бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
Слушай: завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй – водой вареной,
А последний – молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»

Царь не вымолвил ни слова,
Кликнул тотчас стремяннова.
«Что, опять на окиян? —
Говорит царю Иван. —
Нет, уж дудки, ваша милость!
Уж и то во мне всё сбилось.
Не поеду ни за что!» —
«Нет, Иванушка, не то,
Завтра я хочу заставить
На дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый думаю налить
До краев водой студеной,
А второй – водой вареной,
А последний – молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и двух водах». —
«Вишь, откуда подъезжает! —
Речь Иван тут начинает. —
Шпарят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.

Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно́,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить-мудрить
Да Ивана проводить!»
Царь, затрясши бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он. – Но смотри!
Если ты в рассвет зари
Не исполнишь повеленье, —
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытать,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, бо́лесть[99] злая!»
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек. —
Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?»
Пал Иван к коньку на шею,

[99] Бо́лесть – болезнь; здесь: ругательство.

Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! – сказал. —
Царь вконец меня сбывает;
Сам подумай, заставляет
Искупаться мне в котлах,
В молоке и двух водах:
Как в одной воде студеной,
А в другой воде вареной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конек:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею…
Ну, не плачь же, Бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.
Слушай, завтра на заре
В те поры, как на дворе
Ты разденешься, как должно,
Ты скажи царю: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,

Чтоб впоследни с ним проститься».
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордóй макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеной.
А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,
Помолился на забор
И пошел к царю во двор.

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера и повара
И служители двора;

Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялися порой.

Вот и двери растворились,
Царь с царицей появились
И готовились с крыльца
Посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, покупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая.
А царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них – и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполняй-ка, брат, что дóлжно!»
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать?
Я впоследни б с ним простился».

Царь, подумав, согласился
И изволил приказать
Горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,
В те котлы мордо́й макнул,
На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул,
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь.

«Эко диво! – все кричали. —
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы льзя похорошеть!»

Царь велел себя раздеть,

Два раза́ перекрестился, —
Бух в котел – и там сварился!

Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если люба, то признайте
Володетелем всего —
И супруга моего!»
Тут царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, люба! – все кричат. —
За тебя хоть в самый ад!
Твоего ради талана[100]
Признаем царя Ивана!»

Царь царицу тут берет,
В церковь Божию ведет,
И с невестой молодою
Он обходит вкруг налою.

---

[100] Тала́н – счастье.

Пушки с крепости палят;
В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют
Бочки с фряжским выставляют,
И, напившися, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, царь наш со царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!»

Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой;
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями,
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.

Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) Аленький цветочек

Сказка ключницы Пелагеи

В некиим царстве, в некиим государстве жил-был богатый купец, именитый человек.

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камениев, золотой и серебряной казны – по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

– Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять зе-

мель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу – не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется.

Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги да и говорит ему первая:

– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого[101]; а привези ты мне золотой венец из камениев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого.

Честно́й купец призадумался и сказал потом:

– Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таково́й венец; знаю я за́ морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени[102], за тремя дверьми железными, за тремя замками немец-

---

[101] Бурми́цкий – крупный жемчуг, добываемый в Персидском заливе.

[102] Са́жень – старорусская единица измерения расстояния, равная с XVII века 2,16 м.

кими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет[103].

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга бурмицкого, ни золота́ венца самоцветного, а привези ты мне тувалет[104] из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася.

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

– Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны

---

[103] «…для моей казны супротивного нет» – достаточно денег.

[104] Тувале́т – столик с зеркалом.

супротивного нет.

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:

– Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете.

Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова:

– Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи.

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой

казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей середней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери – аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своей верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену во неволе».

Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад – руки́ не просунуть, смотрит направо – пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит

налево – а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам всё идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него всё повымерло. Вот пришла и темная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминучую?»

Поворотил он назад – нельзя идти, направо, налево – нельзя идти; сунулся вперед – дорога торная. «Дай постою на одном месте, – может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».

Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены,

и играет в нем музы́ка согласная, какой никогда он не слыхивал.

Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным[105] сукном, со перилами позолоченными; вошел в горницу – нет никого; в другую, в третью – нет никого; в пятую, десятую – нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; и подумал он в те поры́ про себя: «Всё хорошо, да есть нечего» – и вырос перед ним стол, убранный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления[106]; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, – того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи.

---

[105] Кармази́нный – алый, красный.

[106] Сумле́ние – сомнение.

Дивуется честной купец такому чуду чу́дному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» – и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего.

Дивится купец такому чуду новому, новому и чу́дному; ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шёлковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидать!» – и заснул в ту же минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и середнюю, что они веселым-веселёхоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и середней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно и не радостно.

Встал он со кровати высокой, платье ему всё приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается,

умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоватися при свете солнышка красного. Всё показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогулятися.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зелены сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их вышину – голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.

Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежалися, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени – неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимает-

ся; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:

– Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая.

И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталася под ногами, – и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:

– Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хоронил его паче[107] зеницы ока моего и всякий день утешался, на него глядючи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..

И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:

– Умереть тебе смертью безвременною!

У честного купца от страха зуб на зуб не приходил, он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему си-

---

[107] Па́че – больше.

ла нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед на́большим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:

– Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя – не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери – самоцветный венец, середней дочери – тувалет хрустальный, а меньшой дочери – аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду – аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь.

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

– Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои

слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчётною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища.

Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным:

– Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю.

Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

– Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне – не твоя

беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи.

Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что́ у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.

И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелко́вые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец както нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаённая. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:

– Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное.

И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:

– Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сего-дня будем веселитися.

Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец середней дочери, тувалет хрусталю восточного; достает гостинец меньшой дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешалися. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:

– Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете.

Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохлаждатися, ласковы-

ми речами утешатися.

Ввечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовалися: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали.

Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалася и говорит:

– Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.

Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилося, все от слова до́ слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Середняя дочь наотрез отказалася и говорит:

– Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей все рассказывать, все от слова до́ слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:

– Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя.

Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:

– Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец – никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему[108], ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню.

И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:

– Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый; житье мое будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского, я не испугаюся, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, Бог даст, я и вернусь к тебе.

---

[108] Прыску́чий – быстрый.

Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.

Прибегают сестры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшой сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою; он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери – и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.

Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой[109], ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулася. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.

Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всяко-

---

[109] Камка́ – китайская узорчатая ткань с шелковой основой.

го, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная; и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня».

Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любуючись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зелены́ сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонилися; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место прежнее; но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.

Подивилася она такому чуду чу́дному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин

милостивый», – как на белой мраморной стене появилися словеса огненные:

«Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».

Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумати, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:

«Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными; и знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».

Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалася, музыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подальше – по той причине,

чтоб ей спать не мешать.

После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды – груши, персики и наливные яблочки – сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.

После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные:

«Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощеньем и прислугою?»

И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:

– Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.

Появилися на стене словеса огненные:

«Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть».

И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что́ с нею в это время приключилося; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощенья и веселья новые, отменные: катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи по темным лесам; а те леса перед ней расступалися и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматися, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозя-

ину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день о́то дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная; ничему она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день о́то дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушати, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных.

Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными:

«Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб».

И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, входила во беседку

свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчовую; и говорит она задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова:

– Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюся я и рева звериного; говори со мной не опасаючись.

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще вполголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день – во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:

– Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?

Отвечает лесной зверь, чудо морское:

– Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг.

И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается, – захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его завсегда устрашалися и в свои берлоги разбегалися. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:

– Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски.

Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:

– Если ты стар человек – будь мне дедушка, если середович[110] – будь мне дядюшка, если же молод ты – будь мне названый брат, и поколь я жива – будь мне сердечный друг.

---

[110] Середови́ч – человек средних лет.

Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово:

– Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастие и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» – и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечной: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец – и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне николи не услышишь».

Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидатися часу урочного, и, когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» – и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах; и невзвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади гор-

бы великие верблюжие, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.

Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючьми слезами обливается и говорит голосом жалостным:

– Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною.

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым:

– Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испугалася.

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх

ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучалися, за обедом и ужином яствами сахарными насыщалися, питьями медвяными прохлаждалися, гуляли по зеленым садам, без коней каталися по темным лесам.

И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидал ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

– И зачем тебе мое позволенье? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу.

Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым

и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен, день и ночь ее вспоминаючи, горючими слезами обливаючись; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому.

Долго они целовалися, миловалися, ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, все от слова до́ слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стало.

День проходит, как единый час, другой день проходит,

как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему…» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:

– Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание.

И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.

И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, – а всё рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла

от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугою верной, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом:

– Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой.

Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нешто недоброе; обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго – нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания[111]. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная, – он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую –

---

[111] Глас послуша́ния – ответный голос.

и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит…

Помутилися ее очи ясные, подкосилися ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом:

– Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..

И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громова́ стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти – не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со каменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой; перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писаный, на голове со короною царскою:

– Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческом, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла

меня, еще малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таковом виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною, – и тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем.

Тогда все тому подивилися, свита до земли преклонилася. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и нимало не медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.

Владимир Федорович Одоевский (1803/04–1869)

Мороз Иванович

Нам даром, без труда ничего не дается, – недаром исстари пословица ведется.

В одном доме жили две девочки – Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка.

Рукодельница была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать: сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку – да спать не хочется; ей бы покушать – да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать

– да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и вечер – день прошел.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Как тут быть?

Расплакалась бедная Рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

– Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведерко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

– Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой – от волос иней сыплется, ду́хом дохнет – валит густой пар.

– А! – сказал он. – Здоро́во, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

– Знаю я, зачем ты пришла, – говорит Мороз Иванович, – ты ведерко в мой студенец[112] опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, – при-

---

[112] Студене́ц – ключ, родник, колодец.

бавил Мороз Иванович, – мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась… Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как брильянты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего.

Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут: и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего – работают бедные люди.

– Ничего, – сказал Мороз Иванович, – только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки.

– Вот ты говоришь, – сказала она, – что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?

– Не выпускаю потому, что еще не время, еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, и ка-

бы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно крестьянин соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.

– Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, – сказала Рукодельница, – зачем ты в колодце-то сидишь?

– Я затем в колодце сижу, что весна подходит, – сказал Мороз Иванович. – Мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.

– А зачем ты, Мороз Иванович, – спросила Рукодельница, – зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?

– А я затем в окошки стучусь, – отвечал Мороз Иванович, – чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а от того в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко сту-

чусь, чтобы им помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель.

Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

– Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе на память брильянтик – косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола брильянтик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукареку, кукареки́!
У Рукодельницы в ведерке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

– Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось и брильянтовую булавочку тоже.

Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух прямо ко дну. Смотрит – перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

– Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет.

А Ленивица ему в ответ:

– Да, как бы не так! Мне себя утомлять – лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

– Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева пита-

лися, студеной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

– Да, как бы не так! – отвечала Ленивица. – Мне себя утомлять – ручки подымать, за сучья тянуть… Успею набрать, как сами нападают!

И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

– Что тебе надобно, девочка? – спросил он.

– Пришла я к тебе, – отвечала Ленивица, – послужить да за работу получить.

– Дельно ты сказала, девочка, – отвечал старик, – за работу деньги следует, только посмотрим, какова еще твоя работа будет! Поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычини, да белье повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает:

«Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас – всё по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб боль-

шого труда себе не давать, как все было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще кваску подлила, а сама думает:

«Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

– Хорошо ты готовишь, – заметил он, улыбаясь. – Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лег отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и белье разбирать; да и тут беда: платье и белье Ленивица на́шивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А Ленивице то и любо; думает себе: «Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром,

пятачков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.

– Да какая же была твоя работа? – спросил старичок. – Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

– Да, как же! – отвечала Ленивица. – Я ведь у тебя целых три дня жила.

– Знаешь, голубушка, – отвечал старичок, – что я тебе скажу: жить и служить – разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку – пребольшой брильянт.

Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

Пришла домой и хвастается.

– Вот, – говорит, – что я заработала; не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький брильянтик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да и брильянт-то чуть не с кулак… Уж на это можно к празднику обнову купить…

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не что иное как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и бри-

льянт. А петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукареку-кукарекýлька,
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье…

Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», – сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, – и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

– Что это за городок? – спросил Миша.

– Это городок Динь-Динь, – отвечал папенька и тронул пружинку…

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол… Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни

закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок протянулись синеватые лучи.

– Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

– Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

– Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается…

– Право, мой друг, там и без тебя тесно.

– Да кто же там живет?

– Кто там живет? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса… Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» – спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смот-

рит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же, – подумал Миша, – папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

– Извольте, с величайшею радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

– Позвольте узнать, – сказал Миша, – с кем я имею честь говорить?

– Динь-динь-динь, – отвечал незнакомец, – я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие своды – чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

– Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал

ему Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды, – там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

– Динь-динь-динь! – отвечал мальчик. – Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.

– Отчего это? – спросил он своего проводника.

– Динь-динь-динь! – отвечал проводник, смеясь. – Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали все кажется маленьким, а подойдешь – большое.

– Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня вый-

дет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

– Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

– Уж у нас поговорка такая, – отвечал мальчик-колокольчик.

– Поговорка? – заметил Миша. – А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по

небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдет, вкруг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.

– Нет, теперь уж меня не обманут, – сказал Миша. – Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

– Ан вот и неправда, – отвечал провожатый, – колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье; звенели, прыгали, бегали.

– Весело вы живете, – сказал им Миша, – век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.

– Динь-динь-динь! – закричали колокольчики. – Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не

побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело; из городка мы – ни пяди[113], а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

– Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – все не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

– Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

– Какие же дядьки? – спросил Миша.

– Дядьки-молоточки, – отвечали колокольчики, – уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достается.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то

---

[113] Пядь – старорусская мера длины, равная расстоянию между растянутыми большим и указательным пальцами.

господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собой: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

– Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

– Какой это у вас надзиратель? – спросил Миша у колокольчиков.

– А это господин Валик, – зазвенели они, – предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша – к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадется ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:

– Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шу-

ры-муры! шуры-муры!

– Это я, – храбро отвечал Миша, – я – Миша…

– А что тебе надобно? – спросил надзиратель.

– Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают…

– А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь на́больший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры…

– Ну, многому же я научился в этом городке! – сказал про себя Миша. – Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! – думаю я. – Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошел далее – и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

– Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

– Зиц-зиц-зиц, – отвечала царевна. – Глупый ты мальчик,

неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком – и что же? В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались… Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и… проснулся.

– Что во сне видел, Миша? – спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

– Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? – спрашивал Миша. – Так это был сон?

– Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере, что тебе приснилось!

– Да видите, папенька, – сказал Миша, протирая глазки, –

мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась… – Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

– Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.

Антоний Погорельский (Алексей Алексеевич Перовский) (1787–1836) Черная курица, или Подземные жители

Лет сорок тому назад[114], в С.-Петербурге на Васильевском острову, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою; Адмиралтейство не бы-

[114] «Лет со́рок тому́ наза́д…» – в 80-х годах XVIII века.

ло обсажено деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом – одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее… Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, – теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острову, в Первой линии.

Дом, которого теперь – как уже вам сказывал – вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу… Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которой каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали…

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и воз-

вратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, – и библиотека, которою пользовался наш Алеша, большею частию состояла из книг сего рода.

Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимым его занятием в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старин-

ные, давно прошедшие века… Особливо в вакантное время[115], когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было – подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них вы-

---

[115] Вака́нтное вре́мя – свободное; здесь: каникулы.

строенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время зимних вакаций – день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов мороза) Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями[116], тупеем[117] и

---

[116] Бу́кля – завиток, локон.

длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные ее мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп[118] и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась прическа; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока.

В продолжении всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка – сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще

---

[117] Тупе́й – прическа со взбитым хохлом и зачесанными назад волосами.

[118] Сало́п – женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с прорезями для рук или небольшими рукавами.

менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

– Алеша, Алеша! помоги мне поймать курицу! – кричала кухарка.

Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору – то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их.

Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Алеша, спаси Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на

шею, в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

– Любезная, милая Тринушка! – вскричал он, обливаясь слезами, – пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Не поймала ты Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка вне себя была от досады и хотела бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

– Душенька, Тринушка! – говорил он, – ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая… Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алеша вынул из кармана империал[119], составлявший все

---

[119] Импери́ал – золотая монета.

его имение[120], который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки… Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке – и с твердостью отдал драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанья. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед по обе стороны груди.

Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему ка-

---

[120] Име́ние – здесь: сбережение.

кие-нибудь вопросы.

В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей: о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что́ она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику… Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.

Все пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь, – подумал он, – то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша на-

чала приседать[121] в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел… не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось все это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты[122], финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

– Подите, – отвечал учитель, – только не долго там будьте:

---

[121] «…начала приседеть» – то есть, по тогдашнему этикету, делала реверансы.

[122] Бергамо́т – сорт груши.

уж скоро сделается темно.

Алеша поспешно надел свою красную бекешу[123] на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

– Алеша, Алеша! Останься со мною!

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкой, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей.

Немного погодя учитель, провожавший директора со

---

[123] Бекéша – мужская верхняя одежда в виде приталенного длиннополого пальто со складками.

свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец все утихло… Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться… ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, – и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:

– Алеша, Алеша!

Алеша испугался… Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало.

Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится… еще внятнее услышал, что кто-то говорит:

– Алеша, Алеша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла… черная курица!

– Ах! Это ты, Чернушка! – невольно вскричал Алеша. –

Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

– Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

– Зачем я тебя буду бояться? – отвечал он. – Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

– Если ты меня не боишься, – продолжала курица, – так поди за мною. Одевайся скорее!

– Какая ты, Чернушка, смешная! – сказал Алеша. – Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу вижу!

– Постараюсь этому помочь, – сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах[124], не больше как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

– Иди за мною! – сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так

---

[124] Шанда́л – подсвечник.

ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю…

– Дверь заперта ключом, – сказал Алеша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась… Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей муравой люди и звери, Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

Они вошли во вторую комнату – и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

– Не трогай здесь ничего, – сказала она. – Берегись разбудить старушек!

Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он

мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки… Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась… и еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

– Как тебе не стыдно! – сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. – Ты, верно, разбудил рыцарей…

– Каких рыцарей? – спросил Алеша.

– Ты увидишь, – отвечала курочка. – Не бойся, однако ж, ничего; иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в же-

лезных руках.

Чернушка шла вперед на цыпочках и Алеше велела следовать за собою тихонько-тихонько.

В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу.

Чернушка подняла хохол, распустила крылья… вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться!

Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату и он лежал в своей постели: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли все то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

– Впрочем, – прибавила она, – беда невелика, если бы она

и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня – точно так, как накануне… Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» – и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

– Ах! здравствуй, Чернушка! – вскричал он вне себя от радости. – Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

– Здорова, – отвечала курочка, – но чуть было не занемогла по твоей милости.

– Как это, Чернушка? – спросил Алеша, испугавшись.

– Ты добрый мальчик, – продолжала курочка, – но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, – несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей – и я насилу с ними сладила!

– Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

– Хорошо, – сказала курочка, – увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На убранном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться.

Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. Чуть-чуть он не остановился – такими они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять – когда приблизились они к двери из желтой меди – два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья…

Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алешу.

– Побудь здесь немного, – сказала она ему, – я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил,

поклонясь фарфоровым куклам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. – После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие – гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили.

Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь и в конце залы… Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях.

Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

– Мне давно было известно, – сказал король, – что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

– Когда? – спросил Алеша с удивлением.

– Третьего дня на дворе, – отвечал король. – Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял малень-

кий человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

– Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца…

– Что ты говоришь? – прервал его с гневом король. – Мой министр – не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

– Скажи мне, чего ты желаешь? – продолжал король. – Если я в силах, то непременно исполню твое требование.

– Говори смело, Алеша! – шепнул ему на ухо министр.

Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым за-

ставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

– Я бы желал, – сказал он, – чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

– Не думал я, что ты такой ленивец, – отвечал король, покачав головою. – Но делать нечего: я должен исполнить свое обещание.

Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

– Возьми это семечко, – сказал король. – Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что ре-

шиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повел он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше.

– Камни эти, – сказал министр, – у вас называются драгоценными. Это всё брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

– Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! – вскричал Алеша.

– Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, – отвечал министр.

Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно; но он из

учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточенные из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

– Кушай что угодно, – сказал министр, – с собою же брать ничего не позволяется.

Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

– Вы обещались взять меня с собою на охоту, – сказал он.

– Очень хорошо, – отвечал министр. – Я думаю, что лошади уже оседланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь; Алеше подвели палку гораздо более других.

– Берегись, – сказал министр, – чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увертываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго

они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою…

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались… при всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.

– Скажи, пожалуйста, – начал Алеша, – зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

– Если б мы их не истребляли, – сказал министр, – то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости.

Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

– Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? – продолжал Алеша.

– Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш? – отвечал министр. – Правда, не многим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край…

– Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить, – прервал его Алеша. – Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так, что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец как-то узнали,

что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

– Быть может, что это правда, – отвечал министр.

– Но, – сказал ему Алеша, – объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать… Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы – все это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привел в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим, – подумал он, – сдержит ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти часов до двенадцати преподавал историю

сам содержатель пансиона.

У Алеши сильно билось сердце… Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком… Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так, что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алеша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо чрез него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили.

Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроки, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое бо́льшие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее.

Куда! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал,

что подумать, когда Алеша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот… и не мог выговорить ни слова!

– Что ж вы молчите? – сказал ему учитель. – Говорите урок.

Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах… все тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

– Что это значит, Алеша? – закричал учитель. – Почему вы не хотите говорить?

Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко… Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его… он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

– Подите в спальню, – сказал он, – и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли

дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню – всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе.

Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю и зернышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

– Милая Чернушка! – говорил он, – любезный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко! Я, право, вперед буду осторожнее…

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

– Знаете ли вы теперь урок? – спросил он у Алеши.

Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

– Ну, так оставайтесь здесь, пока выучите! – сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и

оставил его опять одного.

Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо.

Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

– Алеша! знаете ли вы урок? – спросил он.

И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:

– Знаю только две страницы.

– Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде, – сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение това-

рищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», – подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.

Вдруг… простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица.

Сердце в нем стало биться сильнее… Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

– Чернушка, Чернушка! – сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

– Ах, Чернушка! – сказал Алеша вне себя от радости, – я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

– Нет, – отвечала она, – я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь… я не узнаю тебя!

Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

– Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно… Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности!

Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

– Ты увидишь, милая Чернушка, – сказал он, – что я сегодня же совсем другой буду.

– Не полагай, – отвечала Чернушка, – что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но ду-

мал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! – мыслил он. – Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут…»

Увы! бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали наверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.

– Знаете ли вы урок ваш? – спросил учитель, взглянув на него строго.

– Знаю, – отвечал Алеша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

– Вы знаете урок свой, – сказал он ему, – это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

– Вчера я не знал его, – отвечал Алеша.

– Быть не может! – прервал его учитель. – Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

– Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:

– Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

– Отвечайте же! – продолжал учитель. – Когда выучили вы урок?

Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел отвечать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

– Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, – сказал он Алеше, – тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! – продолжал учитель, обратясь к пансионерам, – запрещаю всем вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги… Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же – Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

– Надо было думать об этом прежде, – был ему ответ.

Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать.

Наконец учитель сжалился.

– Хорошо! – сказал он, – я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

Алеша совершенно потерял голову… он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях…

Учитель не дал ему договорить…

– Как! – вскричал он с гневом. – Вместо того чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алешу высекли!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый… Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда чрез несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман… конопляного зернышка в нем не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он тоже лег в постель; но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати… Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза: он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, – и вместо того… Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни… Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

– Алеша, Алеша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по его щекам…

Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка – не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.

– Алеша! – сказал министр, – я вижу, что ты не спишь… Прощай! Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!..

Алеша громко зарыдал.

– Прощай! – воскликнул он, – прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

– Алеша! – сказал сквозь слезы министр, – я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух…

– Что это такое? – спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотою цепью… Он ужаснулся!

– Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, – сказал министр с глубоким вздохом, – но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кро-

вать.

– Чернушка, Чернушка! – кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слушал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

– Прощай, Алеша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алеша выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

Владимир Иванович Даль (1801–1872)

Девочка Снегурочка

Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:

– А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!

Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:

– Что же будешь делать – нет, так и взять негде.

Однако старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики – пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну – глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им:

– Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена.

Вот старики обрадовались, вынули ее, да ну старуха ско-

рее шить да кроить, а старик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка[125],
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платье рядить,
Уму-разуму учить!

Вот и растет Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают.

Все шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке лиса, прикинулась больной и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать:

– Жученька, Жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушек погреться!

Жучка, весь день за стариком в лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. А лиска двух кур задушила да до-

---

[125] Коку́рочка – сдобная лепешка, булочка.

мой утащила. Как узнал про это старик, так Жучку прибил и со двора согнал.

– Иди, – говорит, – куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься!

Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только старушка да девочка Снегурочка.

Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодки. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочку они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится ягодок побрать да на лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок да пирожка кусок.

Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да увидали ягоды, так все про все позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут да аукаются, в лесу друг дружке голос подают.

Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли.

Стала Снегурочка голос подавать – никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! Ау!»

Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся:

– О чем, девица, о чем, красная?

– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули!

– Слезай, – сказал медведь, – я тебя домой доведу!

– Нет, медведь, – отвечала девочка Снегурочка, – я не пойду с тобой, я боюсь тебя – ты съешь меня!

Медведь ушел.

Бежит серый волк:

– Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

– Слезай, – сказал волк, – я доведу тебя до дому!

– Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя – ты съешь меня!

Волк ушел. Идет Лиса Патрикеевна:

– Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

– Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

– Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорехонько, я тебя до дому доведу!

– Нет, лиса, льстивы слова, я боюся тебя – ты меня к волку заведешь, ты медведю отдашь… Не пойду я с тобой!

Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку Снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а девочка не идет.

– Гам, гам, гам! – залаяла собака в лесу.

А девочка Снегурочка закричала:

– Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь – девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодки, в лес завели да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я отказала ему; хотела лиса сманить, я в обман не далась; а с тобой, Жучка, пойду!

Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком[126] своим и была такова!

Снегурочка с дерева слезла, Жучка подбежала, ее лобызала, все личико облизала и повела домой.

Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет.

Жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступается.

Пришли они домой; старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,

---

[126] Пушня́к – хвост.

В цветно платьице рядить,
Уму-разуму учить!

Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.

Ворона

Жила-была ворона, и жила она не одна, а с няньками, мамками, с малыми детками, с ближними и дальними соседками. Прилетели птицы из заморья, большие и малые, гуси и лебеди, пташки и пичужки, свили гнезда в горах, в долах, в лесах, в лугах и нанесли яичек.

Подметила это ворона и ну перелетных птиц обижать, у них яички таскать!

Летел сыч и увидал, что ворона больших и малых птиц обижает, яички таскает.

– Постой, – говорит он, – негодная ворона, найдем на тебя суд и расправу!

И полетел он далеко, в каменные горы, к сизому орлу.

Прилетел и просит:

– Батюшка сизо́й орел, дай нам свой праведный суд на обидчицу-ворону! От нее житья нет ни малым, ни большим птицам: наши гнезда разоряет, детенышей крадет, яйца таскает да ими своих воронят питает!

Покачал сизой орел головой и послал за вороною легкого, меньшо́го своего посла – воробья. Воробей вспорхнул и полетел за вороной. Она было ну отговариваться, а на нее поднялась вся птичья сила, все пичуги, и ну щипать, клевать, к орлу на суд гнать. Нечего делать – каркнула и полетела, а все птицы взвились и следом за ней понеслись.

Вот и прилетели они к орлову жилью и обсели его, а ворона стоит посереди да обдергивается перед орлом, охорашивается.

И стал орел ворону допрашивать:

– Про тебя, ворона, сказывают, что ты на чужое добро рот разеваешь, у больших и малых птиц детенышей да яйца таскаешь!

– Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина, я только одни скорлупки подбираю!

– Еще про тебя жалоба до меня доходит, что как выйдет мужичок пашню засевать, так ты подымаешься со всем своим вороньем и ну семена клевать!

– Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина! Я с подружками, с малыми детками, с чадами, домочадцами только червяков из свежей пашни таскаю!

– А еще на тебя всюду народ плачется, что как хлеб сожнут да снопы в копны сложат, то ты налетишь со всем своим вороньем и давай озорничать, снопы ворошить да копны разбивать!

– Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина! Мы это ради доброго дела помогаем – копны разбираем, солнышку да ветру доступ даем, чтобы хлебушко не пророс да зерно просохло!

Рассердился орел на старую врунью-ворону, велел ее засадить в острог, в решетчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки́. Там она сидит и по сей день!

Война грибов с ягодами

Красным летом всего в лесу много – и грибов всяких и всяких ягод: земляники с черникой, и малины с ежевикой, и черной смородины. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидючи, и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается: «Вишь, что их уродилось! Бывало, и мы в чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, – думает боровик, всем грибам голова, – нас, грибов, сила великая – пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!»

Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал он грибы сзывать, стал помочь скликать:

– Идите вы, волнушки, выступайте на войну!

Отказалися волнушки:

– Мы все старые старушки, не повинны на войну.

– Идите вы, опёнки!

Отказалися опёнки:

– У нас ноги больно тонки, не пойдем на войну!

– Эй вы, сморчки! – крикнул гриб-боровик. – Снаряжайтесь на войну!

Отказалися сморчки говорят:

– Мы старички, уж куда нам на войну!

Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он

громким голосом:

– Грузди, вы ребята дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать!

Откликнулись грузди с подгруздками:

– Мы грузди, братья дружны, мы идем с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем!

Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их вздымается, грозная рать подымается.

«Ну, быть беде», – думает зеленая травка.

А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара-широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд брать да в кузов класть. Набрала его полным-полнешенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по родам да по званию: волнушки – в кадушки, опёнки – в бочонки, сморчки – в бурачки, груздки – в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронизали, высушили да и продали.

С той поры перестал гриб с ягодою воевать.

Константин Дмитриевич Ушинский (1824–1870/71)

Слепая лошадь

Давно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.

Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно все, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче.

В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее Догони-Ветра – так прозвал Уседом свою любимую верховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади.

Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки.

Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за узду.

Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забегал вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники пустились вдогонку; лошади у них были тоже добрые, но куда же им догнать Уседомова коня?

Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев.

Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена клочьями валилась на землю.

Слезая с лошади, бока которой от усталости подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса.

Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не вы́водил измученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени.

С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.

Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шел.

Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним де-

лают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадется ли где-нибудь хоть клок соломы со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор.

Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы, называлось вечем. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется.

Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря

на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина – и удивились, увидя посреди площади бедного коня – слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол.

Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади…

Ветер и солнце

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.

Сказал, – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпа́л бедного путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.

Охотник до сказок

Жил себе старик со старухою, и был старик большой охотник до сказок и всяких россказней.

Приходит зимою к старику солдат и просится ночевать.

– Пожалуй, служба, ночуй, – говорит старик, – только с уговором: всю ночь мне рассказывай. Ты человек бывалый, много видел, много знаешь.

Солдат согласился.

Поужинали старик с солдатом, и легли они оба на полати рядышком, а старуха села на лавку и стала при лучине прясть.

Долго рассказывал солдат старику про свое житье-бытье, где был и что видел. Рассказывал до полуночи, а потом помолчал немного и спрашивает у старика:

– А что, хозяин, знаешь ли ты, кто с тобою на полатях лежит?

– Как кто? – спрашивает хозяин, – вестимо, солдат.

– Ан, нет, не солдат, а волк.

Поглядел мужик на солдата, и точно – волк. Испугался старик, а волк ему и говорит:

– Да ты, хозяин, не бойся, погляди на себя, ведь и ты медведь.

Оглянулся на себя мужик, – и точно, стал он медведем.

– Слушай, хозяин, – говорит тогда волк, – не приходится

нам с тобою на полатях лежать; чего доброго, придут в избу люди, так нам смерти не миновать. Убежим-ка лучше, пока целы.

Вот и побежали волк с медведем в чистое поле. Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит:

– Давай съедим!

– Нет, ведь это моя лошадь, – говорит старик.

– Ну так что же что твоя: голод не тетка.

Съели они лошадь и бегут дальше, а навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит:

– Давай старуху съедим.

– Как есть? да ведь это моя жена, – говорит медведь.

– Какая твоя! – отвечает волк.

Съели и старуху.

Так-то пробегали медведь с волком целое лето. Настает зима.

– Давай, – говорит волк, – заляжем в берлогу; ты полезай дальше, а я спереди лягу. Когда найдут на нас охотники, то меня первого застрелят, а ты смотри: как меня убьют да начнут шкуру сдирать, выскочи из берлоги, да через шкуру мою переметнись, – и станешь опять человеком.

Вот лежат медведь с волком в берлоге; набрели на них охотники, застрелили волка и стали с него шкуру снимать. А медведь как выскочит из берлоги да кувырком через волчью шкуру… и полетел старик с полатей вниз головой.

– Ой, ой! – завопил старый, – всю спинушку себе отбил.

Старуха перепугалась и вскочила.

– Что ты, что с тобой, родимый? Отчего упал, кажись, и пьян не был!

– Как отчего? – говорил старик, – да ты, видно, ничего не знаешь!

И стал старик рассказывать: мы-де с солдатом зверьем были; он волком, я медведем; лето целое пробегали, лошадушку нашу съели и тебя, старуха, съели. Взялась тут старуха за бока и ну хохотать.

– Да вы, – говорит, – оба уже с час вместе на полатях во всю мочь храпите, а я всё сидела да пряла.

Больно расшибся старик; перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.

Лиса и козел

Бежала лиса, на ворон зазевалась, – и попала в колодец. Воды в колодце было немного: утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова; идет, бородищей трясет, рожищами мотает; заглянул, от нечего делать, в колодец, увидел там лису и спрашивает:

– Что ты там, лисонька, поделываешь?

– Отдыхаю, голубчик, – отвечает лиса. – Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь.

А козлу давно пить хочется.

– Хороша ли вода-то? – спрашивает козел.

– Отличная! – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь; здесь обоим нам место будет.

Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил, а она ему:

– Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел – всю обрызгал.

Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца.

Чуть было не пропал козел с голоду в колодце; насилу-то его отыскали и за рога вытащили.

Михаил Ларионович Михайлов (1829–1865)

Лесные хоромы

Шел лесом прохожий да обронил кузовок. Обронил и не хватился, и остался кузовок у дороги.

Летела муха, увидала, думает: «Дай загляну, нет ли чего съестного». А в крышке как раз такая дырка, что большой мухе пролезть.

Влезла она, съестного не нашла: кузовок пустой, только на дне хлебных крошек немножко осталось. «Зато хоромы хороши! – подумала муха. – Стану в них жить. Здесь меня ни птица не склюет, ни дождик не замочит».

И стала тут муха жить. Живет день, живет другой. И вылетать не надо: крошек еще всех не переела.

Прилетает комар, сел у дырки, спрашивает:

– Кто в хоромах? Кто в высоких?

– Я, муха-громотуха, а ты кто?

– А я комар-пискун. Пусти в гости!

– Что в гости! Пожалуй, хоть живи тут.

Не успел комар пробраться в кузов, а уж у дверей оса сидит:

– Кто в хоромах?

Те отвечают:

– Двое нас: муха-громотуха да комар-пискун, а ты кто?

– А я оса-пеструха. Будет мне место?

– Место-то будет, да как в дверь пройдешь?

– Мне только крылышки сложить: а я не толста, везде пройду.

– Ну, добро пожаловать!

Она – в кузов, а у двери уж опять спрашивают:

– Кто в хоромах? Кто в высоких?

– Муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, а ты кто?

– А я слепень-жигун.

– Зачем?

– Да к вам побывать.

– Милости просим! Да пролезешь ли?

– Как не пролезть! Только немножко бока подтяну.

Пролез и слепень в кузовок.

Пошли у них разговоры.

Муха говорит:

– Я муха не простая, а большая. Порода наша важная, ведет род исстари. Везде нам вход открытый. В любой дворец прилетай – обед готов. Чего только я не ела! Где только я не была! Не знаю, есть ли кто знатнее меня!

– Кажется, и мы не из простых! – говорит оса. – Уж не передо мною бы хвастаться! Я всем взяла: и красотой, и го-

лосом, и нарядиться, и спеть мастерица. Все цветы меня в гости зовут, поят-кормят. Не знаю, есть ли кто на свете наряднее да голосистее! Посмотрела бы я!

– А меня не пережужжишь, – сказал слепень.

– Да у тебя приятности в голосе нет. У меня голос тонкий, – говорит оса.

– А у меня и тоньше и звонче! – пискнул комар.

И пошли они перекоряться.

Только слышат, опять кто-то у дверки возится.

– Кто там? – спрашивают.

Никто не отзывается.

– Кто у терема? Кто у высокого?

Опять ответа нет.

– Кто нас тут беспокоит? Мы здесь не сброд какой-нибудь, а муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, да слепень-жигун.

Сверху не отвечают.

– Надо бы взлететь да посмотреть! – крикнули все в один голос.

– Я первая не полечу, я всех знатнее, – говорит муха.

– Я первый не полечу, я всех голосистее, – говорит комар.

– Я первая не полечу, я всех наряднее, – говорит оса.

– Я первый не полечу, я всех сильнее, – говорит слепень.

И пошел у них спор: никто лететь смотреть не хочет.

Вдруг в хоромах стало будто темнее.

– Что это за невежа нам свет заслоняет? – крикнули все.

– Да ведь это, никак, паук свою сеть заплел, – сказал комар.

– Ах, и в самом деле! – загудели все. – Как нам быть? Что делать? Надо поскорее выбираться! Покамест еще сеть не крепка, прорвемся.

– Мне первой, – кричит муха, – я всех знатнее!

– Мне первой, – жужжит оса, – я всех наряднее!

– Мне первому, – пищит комар, – я всех голосистее!

– Мне первому, – гудит слепень, – я всех сильнее!

И пошел у них опять спор. Чуть до драки не доходило.

Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою паутину. А как согласились, кому за кем лететь, все в ней и засели.

Два Мороза

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали.

Говорит один Мороз другому:

– Братец Мороз – Багровый нос! Как бы нам позабавиться – людей поморозить?

Отвечает ему другой:

– Братец Мороз – Синий нос! Коль людей морозить – не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело: никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге.

Сказано – сделано. Побежали два Мороза, два родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут – кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает – дунут, словно бисером ее всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком – мужичок.

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.

Мороз – Синий нос, как был помоложе, говорит:

– Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорей дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, – ничего. Он же, никак, дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю.

Мороз – Багровый нос только подсмеивается.

– Молод еще ты, – говорит, – братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай покамест!

– Прощай, братец!

Свистнули, щелкнули, побежали.

Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга – что?

– То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, – говорит младший, – а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.

– Эх, – говорит, – братец Мороз – Синий нос, молод ты и прост! Я его так уважил, что он час будет греться – не отогреется.

– А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?

– Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить! Он-то ежится, он-то жмется да

кутается; думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за него – чуть живого в городе из повозки выпустил! Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

– Эх, братец Мороз – Багровый нос! Плохую ты со мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал – заморожу мужика, а вышло – он же отломал мне бока.

– Как так?

– Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он все не робеет – еще ругается: такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало; принялся я его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо – не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, как быть? А мужик все работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу: скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди же, – говорю, – вот я тебе покажу себя!» Полушубок весь мокрехонек. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик свое дело да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать – все сло-

ва перебрал, что нет их хуже. «Ругайся, – думаю я себе, – ругайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удовольствовался – выбрал полено подлиннее да посучковатее, да как примется по полушубку бить! По полушубку бьет, а меня все ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз – выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.

– То-то!

Волга и Вазуза

Большая река Волга, которую русский народ зовет и матушкой, и кормилицей, и малая речка Вазуза, про которую знают только в тех местах, где она протекает, вышли из земли по соседству одна с другой малыми ручьями и заспорили, кто из них будет больше, кто сильнее, кому будет почет и старшинство. Спорили-спорили, да как друг дружку не переспорили, так и решили на том, чтобы лечь им вместе спать, и которая раньше встанет да прежде прибежит к Хвалынскому[127] морю, та и больше и сильнее, той и почет и старшинство.

Легла Волга спать, легла и Вазуза. Волга заснула, а Вазуза не спит – думает, как бы ей Волгу обогнать. Поднялась она ночью потихоньку, выбрала дорогу попрямее да поближе и шибко-шибко пустилась с гор по долам к морю Хвалынскому.

Проснулась Волга на заре и пошла себе ни тихо, ни скоро, а средним своим ходом. Нечего было ей днем ни плутать, ни мест выбирать, и догнала она Вазузу у города Зубцова и грозно на нее напустилась за ее обман.

Много Вазуза за ночь пути пробежала, немало ей было труда себе дорогу торить, изустала она, измучилась, да как увидала Волгу, что та и полна, и широка, и силы в ней много,

---

[127] Хвалы́нское – Каспийское.

испугалась, притихла, назвалась меньшей ее сестрой и стала просить:

– Прими меня, Волга, к себе на руки, снеси меня в синё море!

Не попомнила Волга зла, взяла Вазузу и понесла ее в глубокое море Хвалынское, только с тем уговором, чтобы бессонная Вазуза по веснам ее раньше будила.

И держит Вазуза уговор крепко и верно: Волга еще спит, а она уж пробуждается от тяжелого зимнего сна и бежит к старшей сестре и зовет:

– Вставай, Волга! Пора!

Николай Алексеевич Некрасов (1821–1877/78)
Генерал Топтыгин

Дело под вечер, зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Ямщичок обратный;
Не спешит, трусит слегка;
Лошади не слабы,
Да дорога не гладка —
Рытвины, ухабы.
Нагоняет ямщичок
Вожака с медведем:
«Посади нас, паренек,
Веселей доедем!»
– Что ты? с мишкой? – «Ничего!
Он у нас смиренный,
Лишний шкалик за него
Поднесу, почтенный!»
– Ну, садитесь! – Посадил
Бородач медведя,
Сел и сам – и потрусил

Полегоньку Федя…
Видит Трифон кабачок,
Приглашает Федю.
«Подожди ты нас часок!» —
Говорит медведю.
И пошли. Медведь смирен,—
Видно, стар годами,
Только лапу лижет он
Да звенит цепями…
Час проходит; нет ребят,
То-то выпьют лихо!
Но привычные стоят
Лошаденки тихо.

Свечерело. Дрожь в конях,
Стужа злее на ночь;
Заворочался в санях
Михайло Иваныч,
Кони дернули; стряслась
Тут беда большая —
Рявкнул мишка! – понеслась
Тройка как шальная!
Колокольчик услыхал,
Выбежал Федюха,
Да напрасно – не догнал!

Экая поруха[128]!

Быстро, бешено неслась
Тройка – и не диво:
На ухабе всякий раз
Зверь рычал ретиво;
Только стон кругом стоял:
«Очищай дорогу!
Сам Топтыгин-генерал
Едет на берлогу!»
Вздрогнет встречный мужичок,
Жутко станет бабе,
Как мохнатый седочок
Рявкнет на ухабе.
А коням подавно страх —
Не передохнули!
Верст пятнадцать на весь мах
Бедные отдули!

Прямо к станции летит
Тройка удалая.
Проезжающий сидит,
Головой мотая:
Ладит вывернуть кольцо.
Вот и стала тройка;

---

[128] Пору́ха – вред, разрушение, порча.

Сам смотритель на крыльцо
Выбегает бойко.
Видит, ноги в сапогах
И медвежья шуба,
Не заметил впопыхах,
Что с железом губа[129],
Не подумал: где ямщик
От коней гуляет?
Видит – барин материк,
«Генерал», – смекает.
Поспешил фуражку снять:
«Здравия желаю!
Что угодно приказать,
Водки или чаю?..»
Хочет барину помочь
Юркий старичишка;
Тут во всю медвежью мочь
Заревел наш мишка!
И смотритель отскочил:
«Господи помилуй!
Сорок лет я прослужил
Верой, правдой, силой;
Много видел на тракту
Генералов строгих,
Нет ребра, зубов во рту

[129] «…с железом губа…» – то есть продетое кольцо с цепью.

Не хватает многих,
А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..»

Прибежали ямщики,
Подивились тоже;
Видят – дело не с руки,
Что-то тут негоже!
Собрался честной народ,
Все село в тревоге:
«Генерал в санях ревет,
Как медведь в берлоге!»
Трус бежит, а кто смелей,
Те – потехе ради,
Жмутся около саней;
А смотритель сзади.
Струсил, издали кричит:
«В избу не хотите ль?»
Мишка вновь как зарычит…
Убежал смотритель!
Оробел и убежал
И со всею свитой…

Два часа в санях лежал

Генерал сердитый.
Прибежали той порой
Ямщик и вожатый;
Вразумил народ честной
Трифон бородатый
И Топтыгина прогнал
Из саней дубиной…
А смотритель обругал
Ямщика скотиной…

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889)

Премудрый пискарь

Жил-был пискарь.

И отец и мать у него были умные; помаленьку, да полегоньку аридовы веки[130] в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло́ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок, – говорил старый пискарь, умирая, – коли хочешь жизнью жуировать[131], так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется – везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха – в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь – и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и

---

[130] Ари́довы ве́ки – большой промежуток времени (от библейского Иареда, который прожил 962 года).

[131] Жуи́ровать – наслаждаться жизнью, веселиться.

бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? – что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́[132], и, наконец… уду! Кажется, что́ может быть глупее уды? – Нитка, на нитке крючок, на крючке – червяк или муха надеты… Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! – говорил он, – потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься – ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, – даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда – не знает. Видит, что у него с одного боку – щука, с другого – окунь; думает:

---

[132] Ве́рша, норо́т – рыболовецкие снасти.

вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они – не трогают… «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла – никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни[133] в траву валить. Тут-то он и узнал, что́ такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково́, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают… Слышит – «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это – «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу – будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину – та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется – и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки – домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает…

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь[134] в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

---

[133] Мотня́ – мешок посередине невода.

[134] Подне́сь – до сего дня.

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить – не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил, – сказал он себе, – а не то как раз пропадешь!» – и стал устраиваться. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому – не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно – именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, – он будет моцион делать, а днем – станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, Бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать – да что́ в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды – и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок – глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось… Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал.

В другой раз только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, – глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул; не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, Господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя

можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не за́рились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Все дрожал, все дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется – только дрожит да одну думу думает: «Слава Богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили – то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется – вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет – неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава Богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет…» А ну-тка, в самом деле, что́ бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде

всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка[135].

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия… живут, даром место занимают да корм едят.

Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил – дрожал, и умирал – дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

---

[135] Снето́к – разновидность озёрной корюшки, маленькой рыбки.

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал – только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы – может быть, как и он, пискари – и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что́ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу исто-

ма. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось – щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность – свидетелей этому делу не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

– Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился, – сказал один генерал, – вижу, будто живу я на необитаемом острове…

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

– Господи! да что ж это такое! где мы! – вскрикнули оба

не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что все это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

– Теперь бы кофейку испить хорошо! – молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

– Что́ же мы будем, однако, делать? – продолжал он сквозь слезы, – ежели теперича доклад написать – какая польза из этого выйдет?

– Вот что, – отвечал другой генерал, – подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся, может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в

регистратуре, то ничего не нашли.

– Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! – сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов[136] учителем каллиграфии и, следовательно, был поумнее.

Сказано – сделано. Пошел один генерал направо и видит – растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть – ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» – подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес – а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

– Господи! еды-то! еды-то! – сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

– Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

– Да вот нашел старый нумер «Московских ведомостей»,

---

[136] Кантони́ст – несовершеннолетний солдатский сын, с рождения числившийся за военным ведомством.

и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

– Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? – сказал один генерал.

– Да, – отвечал другой генерал, – признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

– Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить… Только как все это сделать?

– Как все это сделать? – словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пи́кулями и другим салатом.

– Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! – сказал один генерал.

– Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! – вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылета-

ло глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

– С нами крестная сила! – сказали они оба разом, – ведь этак мы друг друга съедим!

– И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

– Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! – проговорил один генерал.

– Начинайте! – отвечал другой генерал.

– Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

– Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

– Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю!

– Гм… да… А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать – спать пора!»

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

– Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, – начал опять один генерал.

– Как так?

– Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся…

– Тогда что ж?

– Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…

– Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном нумере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, – читал взволнованным голосом один генерал, – у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая», и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника…»

– Тьфу ты, Господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? – воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел сле-

дующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая…»

– Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! – прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится…»

Генералы поникли головами. Все, на что бы они ни обратили взоры, – все свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение…

– А что, ваше превосходительство, – сказал он радостно, – если бы нам найти мужика?

– То есть как же… мужика?

– Ну да, простого мужика… какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

– Гм… мужика… но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

– Ка́к нет мужика – мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверно, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

– Спишь, лежебок! – накинулись они на него, – небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужичина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него. И зачал он перед ними действовать. Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле – и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска де-

рева, потер их друг об дружку – и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами – нигде не пропадешь!»

– Довольны ли вы, господа генералы? – спрашивал между тем мужичина-лежебок.

– Довольны, любезный друг, видим твое усердие! – отвечали генералы.

– Не позволите ли теперь отдохнуть?

– Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял – и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой, мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

– А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли

деле было вавилонское столпотворение, или это только так, одно иносказание? – говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

– Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

– Стало быть, и потоп был?

– И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют…

– А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани – и ничего, не тошнит!

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

– Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? – спрашивал один генерал другого.

– И не говорите, ваше превосходительство! Все сердце изныло! – отвечал другой генерал.

– Хорошо-то оно хорошо здесь – слова нет! а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

– Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса[137], так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

– А ведь мы с Подьяческой генералы! – обрадовались генералы.

– А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стенку краской мажет, или по крыше словно муха ходит – это он самый я и есть! – отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль – не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

– Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! – сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

– Будьте покойны, господа генералы, не впервой! – отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь, да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство – этого ни пером описать, ни в

---

[137] «…четвертого класса» – класс действительного статского советника.

сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли – того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

Самоотверженный заяц

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал да и говорит: «За то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть… ха-ха… я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба залются: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат… А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в

ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косой! А может быть, подождала-подождала да и с другим… слюбилась… А может быть, и так: играла бедняжка в кустах, а тут ее волк… и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего – куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит…

Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается – ан это невестин брат.

– Невеста-то твоя помирает, – говорит. – Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!

Слушал эти слова осужденный, а сердце его на части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности – неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем толь-

ко и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки и все бы миловал да по головке бы гладил.

– Бежим! – говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет – и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

– Не могу, – говорит, – волк не велел.

А волк между тем все видит и слышит и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

– Бежим! – опять говорит посланец.

– Не могу! – повторяет осужденный.

– Что вы там шепчетесь, злоумышляете? – как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу – что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха и без братца – обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые – а перед ними волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

– Мы, ваше благородие, ничего… так, промежду себя…

землячок проведать меня пришел! – лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

– То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

– Так и так, ваше благородие, – вступился тут невестин брат, – сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

– Гм… это хорошо, что невеста жениха любит, – говорит волчиха. – Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

– Да ведь его на послезавтра есть назначено…

– Я, ваше благородие, прибегу… я мигом оборочу… у меня это… вот как Бог свят прибегу! – заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он может мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

– Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом[138] у себя оставил.

---

[138] Аманáт – заложник.

– Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра, – сказал он, – я его вместо тебя съем; а коли воротишься – обоих съем, а может быть… ха-ха… и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется – он ее «на уру» возьмет; река – он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото – он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» – ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть…

Даже птицы его быстроте удивлялись, говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как… улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было – этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать – это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы – всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

– Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

– Что больно к спеху занадобилось? – подшучивает над ним зайчиха-мать.

– Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову – господин. Судили тут тетки и сестрицы – и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова – крепись, а давши – держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

– Беспременно меня волк съест, – говорил он, – так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

– А может быть, волк меня… ха-ха… и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном

месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась – надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть… А кроме того, волки, лисицы, совы – на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И все-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит! Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота – все ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг все кругом затихло, словно помертвело. А косой все бежит и все одну думу думает: неужто ж я друга не выручу!

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг – пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее… А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой – болото и в нем – волчье логово… опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы… вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения… неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдали на колокольне бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтоб разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

– Здесь я! здесь! – крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

– Вижу, – сказал он, – что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите до поры до времени оба под этим

кустом, а впоследствии я вас… ха-ха… помилую!

Ворон-челобитчик

Все сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само вороньё измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют воро́ны гурьбой березу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально сейчас – паф! – и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней, привольной, тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверье угнали – никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять – паф! – и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что воро́ны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, своих младших собратий увещевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» – да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где до́ свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим – везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упало́го. Даже червь и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает.

Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица; без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти – рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как други́ живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода – от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет.

И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб – летай на свободе сытый и веселый; не удастся – виси простреленный на огороде, вместо чучела! На то война.

Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридевять морей, места́ здесь были вольные. Лес да вода – и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверья, птицы – всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого; а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в пре-

зент. Отбыл повинность – и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже все изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились заи́мки, потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое воронье с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Воронье разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь…

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот ужо, придет реформа,

узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали вороньему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» – цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение. Воронье роптало: «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» – раздавалось в лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря речи в народ пущают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!»

Так оно и посейчас идет: воронье разоряется, а казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых местов искать и летунов вперед для разведок отправило, но они улететь – улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погиб-

ли. Да и шутка сказать – с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: «Надо лететь всю правду объявить». Только стар он и слаб – долетит ли? Ведь лететь – дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец, и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: был ли у ястреба? был ли у кречета? а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослывешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

– Здравствуй, старче! – приветствовал его ястреб благодушно. – Зачем пожаловал?

– Прилетел я к твоему степенству правду объявить, – горячо закаркал старый ворон. – Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают… Мрет вороний род, а кои и живы – и тем прокормиться нечем.

– Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на

вороний род опрокинулись?

– Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

– Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

– Знаю я, что нынче все изворотами живут, – горячо ответил он, – да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и всё им как с гуся вода, а ворона украдет копейку – ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку – смерть. А ты еще учишь: изворачивайтесь! Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы…

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

– Знаю, не договаривай, – сказал он, – давно мы эту песню слышим, да покуда Бог еще миловал… А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся… Всё ли ты сказал?

– Всё покамест, – отвечал ворон, продолжая робеть.

– Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, во́ронам, а и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи – ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится, – этого покуда никто не знает. Понял?

– Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! – с горечью ответил ворон.

– Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет, – но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал – а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох и палит в нас, что́ вздумается, то над нами и делает. Мы все равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось – разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает. Червю и вы, воронье, потачки на даете; вспомни-ка! что, если б он на вас гвалт поднял, не вы ли б первые удивились: че́рвь, мол, ползущий, а тоже разговаривает! Так-то, старче!

Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

– Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! – затосковал ворон.

– Жестоко ли мое слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают, что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите – и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее – вы бы нас ели, а мы сильнее – мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе – свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

– Погибать, погибать надо! – продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребиных речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслыханно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

– А хочешь, я тебя съем! – сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: – Ну тебя! тощ ты и стар – какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет.

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет – волк голодный и тот на такую птицу не позарится.

– Вот видишь, каков ты стал. А все оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы, жил – такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, – и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики – много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки – эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно воронье живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает – что́ же удивительного, что оно в ревизские сказки[139] попало? А коли попал в ревизские сказки – держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше – и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче – на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.

«Будь что будет, – думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями, – а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный

---

[139] Реви́зская ска́зка – список населения.

копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иваныч, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки, и даже одолженье другу-приятелю сделать; но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь – он настигнет; прикажут удавить – задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя начинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

– Не проспался, старик! – иронически приветствовал челобитчика Иван Иваныч.

Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

– Какой уж у стариков сон! – уклончиво отвечал он.

– Правду объявлять прилетел? – продолжал копчик. – Ну, да, впрочем, это твое дело. Доложить?

– Да, уж сделай такую милость.

Иван Иваныч юркнул в впадину и около часа там оставался. Ворон с замиранием сердца ждал его появления. Наконец он показался.

– Велено тебе сказать, – молвил он, – что растабарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

– Нет уж, что уж… – хотел было утаиться ворон.

– Не запирайся! насквозь тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. Смотри не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вон облако, там, над самым этим облаком, – там и есть.

Несмотря на предсказание копчика, ворон решился довести свое челобитье до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный за́мок, у подножия которого застыли облака, а наверху, вместо крыши, расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник, у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, ученые снегири и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу, с жару, по пятачку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился во́рон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, несмотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитника произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

– С просьбицей, старче? – спросил он во́рона ласково.

– Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! – начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

– Не разводи риторики! – холодно прервал его последний. – Докладывай дело без украшений, ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам свое челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют… И каждый раз, как кон-

чит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

– Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого вóрона при этих подтверждениях. «Наконец-то, – думалось ему, – увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!»

И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него было на душе, и замолк.

– Все ли ты сказал? – спросил его коршун.

– Все, – ответил ворон.

– У ястреба, у кречета челом бил?

– Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом.

– Так вот чтó я тебе на твою правду скажу, – молвил коршун, – больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю… Но правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

– Но почему же? – в недоумении каркнул ворон.

– А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен; а мы, стало быть, не можем выполнить – оттого и смотрим на нее исподлобья. Думается: «Авось-либо она мимо пройдет!»

Коршун на минуту задумался и продолжал:

– Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим – вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться! Правда не ворона – за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом – везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет… Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, – тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются, как дым, и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.

Всеволод Михайлович Гаршин (1855–1888)

Лягушка-путешественница

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно – конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! – думала она. – Какое это наслаждение – жить на свете!»

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, – на это есть весна, – и что, заквакав, она может уронить свое лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их кры-

лья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью – раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно: так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

– Кря, кря! – сказала одна из них. – Лететь еще далеко, надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

– Кря, кря! – сказала другая утка. – Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

– Госпожи утки! – осмелилась сказать лягушка. – Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

– Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва

она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

– А много ли там мошек и комаров?

– О! Целые тучи! – отвечала утка.

– Ква! – сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик: – Возьмите меня с собой!

– Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

– Когда вы летите? – спросила лягушка.

– Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! Кря, кря! Тут холодно! На юг! На юг!

– Позвольте мне подумать только пять минут, – сказала лягушка. – Я сейчас вернусь, я наверное придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять.

Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

– Я придумала! Я нашла! – сказала она. – Пусть две из

вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя.

А утки летели вслед за несшей ее передней парой, крича-

ли и хвалили ее.

– Удивительно умная голова наша лягушка, – говорили они. – Даже между утками мало таких найдется.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела.

Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

– Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий

день они летели так низко, что слышали голоса:

– Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне. – Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

– Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне взрослые. – Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» – подумала квакушка.

– Смотрите, смотрите! – кричали в третьей деревне. – Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

– Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

– Это я! Это я придумала!

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда

они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

– Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, – сказала она. – Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

То, чего не было

В один прекрасный июньский день, – а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру[140], – в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Всё почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно, от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не

---

[140] «…по Реомю́ру» – по температурной шкале французского естествоиспытателя; 28 градусов по Реомюру равны 22,4 градусам по Цельсию.

было уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал:

«Какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее, лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повернутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

– По-моему, – говорил навозный жук, – порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня:

кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар – шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «Да, я сделал все, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

– Поди ты, братец, с своим трудом! – сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. – И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, все равно, для своих жученят; не все так счастливы… попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасиба не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

– Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь, – возразил им кузнечик. – Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своем навозном шаре; это

даже невежливо. Мир – мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нее-то вижу, что миру нет конца.

– Верно, – глубокомысленно подтвердил гнедой. – Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста… За версту отсюда есть деревня Лупаревка; туда я кажый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве, – это такой город, двадцать восемь верст отсюда, – так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом… А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже… Да только куда вам понять все это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него всё еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно, что для человека семьдесят седьмой.

– Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними, – сказала улитка. – Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и всё. И прыгать никуда не нужно – все это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит, и больше ничего.

– Нет, позвольте, отчего же? – перебил кузнечик. – Потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница…

– Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница. – Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

– Для какой там еще будущей жизни? – спросил гнедой.

– Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

– К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, – затрещал, наконец, кузнечик. – Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? – обратился он к му-

хам, и старшая из них ответила:

– Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

– Господа, – сказала ящерица, – я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны…

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал: «Ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

– Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

Лев Николаевич Толстой (1828–1910)

Уж

У одной женщины была дочь Маша. Маша пошла с подругами купаться. Девочки сняли рубашки, положили на берег и попрыгали в воду.

Из воды выполз большой уж и, свернувшись, лег на Машину рубашку. Девочки вылезли из воды, надели свои рубашки и побежали домой. Когда Маша подошла к своей рубашке и увидала, что на ней лежит ужак, она взяла палку и хотела согнать его, но уж поднял голову и засипел человечьим голосом:

– Маша, Маша, обещай за меня замуж.

Маша заплакала и сказала:

– Только отдай мне рубашку, а я всё сделаю.

– Пойдешь ли замуж?

Маша сказала:

– Пойду.

И уж сполз с рубашки и ушел в воду. Маша надела рубашку и побежала домой. Дома она сказала матери:

– Матушка, ужак лег на мою рубашку и сказал: иди за ме-

ня замуж, а то не отдам рубашки. Я ему обещала.

Мать посмеялась и сказала:

– Это тебе приснилось.

Через неделю целое стадо ужей приползло к Машиному дому.

Маша увидала ужей, испугалась и сказала:

– Матушка, за мной ужи приползли.

Мать не поверила, но, как увидала, сама испугалась и заперла сени и дверь в избу. Ужи проползли под ворота и вползли в сени, но не могли пройти в избу. Тогда они выползли назад, все вместе свернулись клубком и бросились в окно. Они разбили стекло, упали на пол в избу и поползли по лавкам, столам и на печку. Маша забилась в угол на печи, но ужи нашли ее, стащили оттуда и повели к воде.

Мать плакала и бежала за ними, но не догнала. Ужи вместе с Машей бросились в воду.

Мать плакала о дочери и думала, что она умерла.

Один раз мать сидела у окна и смотрела на улицу. Вдруг она увидала, что к ней идет ее Маша и ведет за руку маленького мальчика и на руках несет девочку.

Мать обрадовалась и стала целовать Машу и спрашивать ее, где она была и чьи это дети? Маша сказала, что это ее дети, что уж взял ее замуж и что она живет с ним в водяном царстве.

Мать спросила дочь, хорошо ли ей жить в водяном царстве, и дочь сказала, что лучше, чем на земле.

Мать просила Машу, чтоб она осталась с ней, но Маша не согласилась. Она сказала, что обещала мужу вернуться.

Тогда мать спросила дочь:

– А как же ты домой пойдешь?

– Пойду, покличу: «Осип, Осип, выйди сюда и возьми меня»; он и выйдет на берег и возьмет меня.

Мать сказала тогда Маше:

– Ну, хорошо, только переночуй у меня.

Маша легла и заснула, а мать взяла топор и пошла к воде. Она пришла к воде и стала звать:

– Осип, Осип, выйди сюда.

Уж выплыл на берег. Тогда мать ударила его топором и отрубила ему голову. Вода сделалась красною от крови.

Мать пришла домой, а дочь проснулась и говорит:

– Я пойду домой, матушка; мне скучно стало, – и она пошла.

Маша взяла девочку на руки, а мальчика повела за руку.

Когда она пришла к воде, она стала кликать:

– Осип, Осип, выйди ко мне.

Но никто не выходил.

Тогда она посмотрела на воду и увидала, что вода красная и ужовая голова плавает по ней.

Тогда Маша поцеловала дочь и сына и сказала им:

– Нет у вас батюшки, не будет у вас и матушки. Ты, дочка, будь птичкой ласточкой, летай над водой; ты, сынок, будь соловейчиком, распевай по зарям, а я буду кукушечкой, буду

куковать по убитому по своему мужу.

И они все разлетелись в разные стороны.

Три медведя

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.

В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, – они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна – столовая, другая – спальня.

Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлебка ей

показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой – Михайлы Иваныча, другой поменьше – Настасьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушечкой – Мишуткин.

Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась, – так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая – Михайлы Иванычева, другая средняя – Настасьи Петровнина, третья маленькая – Мишенькина.

Девочка легла в большую – ей было слишком просторно; легла в среднюю – было слишком высоко; легла в маленькую – кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.

Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:

– КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:

– КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тон-

ким голосом:

– КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЁ ВЫХЛЕБАЛ!

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:

– КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:

– КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:

– КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО!

Медведи пришли в другую горницу.

– КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! – заревел Михайло Иваныч страшным голосом.

– КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! – зарычала Настасья Петровна не так громко.

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом:

– КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ!

И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут:

– ВОТ ОНА! ДЕРЖИ, ДЕРЖИ! ВОТ ОНА! ВОТ ОНА! АЙ-Я-ЯЙ! ДЕРЖИ!

Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела мед-

ведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.

Липунюшка

Жил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит:

– Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес; а теперь с кем я пошлю?

Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит:

– Здравствуй, матушка!..

А старуха и говорит:

– Откуда ты, сыночек, взялся и как тебя звать?

А сыночек и говорит:

– Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек, я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке.

Старуха и говорит:

– Ты донесешь ли, Липунюшка?

– Донесу, матушка…

Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узелок и побежал в поле.

В поле попалась ему на дороге кочка, он и кричит:

– Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку! Я тебе блинов принес.

Старик услыхал с поля – кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит:

– Откуда ты, сынок?

А мальчик говорит:

– Я, батюшка, в хлопочке вывелся, – и подал отцу блинов.

Старик сел завтракать, а мальчик говорит:

– Дай, батюшка, я буду пахать.

А старик говорит:

– У тебя силы не достанет пахать.

А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песню поет.

Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику:

– Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?

А старик говорит:

– У меня там мальчик пашет, он и песни поет.

Барин подошел ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку.

Барин и говорит:

– Старик! Продай мне мальчика.

А старик говорит:

– Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть.

А Липунюшка говорит старику:

– Продай, батюшка, я убегу от него.

Мужик и продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене:

– Я тебе радость привез.

А жена говорит:

– Покажи, что такое?

Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.

Царь и рубашка

Один царь был болен и сказал:

– Половину царства отдам тому, кто меня вылечит.

Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал:

– Если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя – царь выздоровеет.

Царь и послал искать по своему царству счастливого человека; но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, да беден; кто и здоров и богат, да жена не хороша; а у кого дети не хороши – все на что-нибудь да жалуются.

Один раз идет поздно вечером царский сын мимо избушки, и слышно ему – кто-то говорит:

– Вот, слава Богу, наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно?

Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а рубашку отнести к царю.

Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.

Николай Семенович Лесков (1831–1895)
Час воли божией

I

В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием по всем памятям по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только все это дело у него не спорилося. Только что начнет Доброхот с одного конца свое дело налаживать, как – глядит – оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостылели ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал

король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого – Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и ее, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгою тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой Думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое – на ладошечке.

II

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать:

– Все ли у нас под моей державою идет так, как следует?

Советчики отвечали:

– С нашей руки видать, будто идет у нас все как следует. Будь только ты у нас многолетне здрав, а для нас ничего окромя сего и не надобно.

– Если все вы не врете, то, пожалуй, быть может, и вправду так, – отвечал король. – Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под державою не все так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные, и отчего не для всех равно все спори́тся и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

– Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так – не у нас одних все хорошее не спори́тся, не ладится!

– Ну, пускай повсеместно так, – отвечал король, – а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне

вдоль лавок за стол да не спите, поклав друг другу головы на плечи, и обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а сутемень[141] придите и выложьте.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поравней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить – это все равно, – хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый – ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах все время засветло, а в сумерки встали с мест, запахнулися и принесли сутемень свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились; покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полатях спать, а сам еще в

---

[141] Су́темень – сумрак, полумрак.

два раза смутней закручинился.

– Мне, – говорит, – от этого их совета совсем нет ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное: потому что не я дам Богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что́ после меня в свете станется. А я хочу знать, как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и как до угла дойдет да повернется, то вздохнет глубоко из всей груди, так что везде слыхать во всем тереме.

Тогда подошла к нему тихо в потемочках старая его мамка, чуждянка, из чужих земель полонненая, и говорит ему попросту:

– Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сам виноват – для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояр и советчиков. Им ведь только и дело – особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят, а ты повели привести к себе старцев Божьих, пустынничков, таких, которым уже свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спроси, – им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надобно, – так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

– Хорошо, – он сказал, – я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких Божьих людей достать?

А старуха отвечает:

– Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынников, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор Господь Бог твое царство и милует.

– Хорошо, – отвечал король, – я сейчас хочу видеть этих угодничков.

– Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

III

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех у калик перехожих[142] и стал спрашивать: не видали ли где трех пустынников, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство Господу молятся, и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит.

Калики перехожие, те, что все чудеса в свете Божием видели, рассказали королю, что такие праведные пустыннички точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом диком тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и уперся в поднебесье, и старца и солнце жжет и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок – этому средний брат – процвел в безбережной степи посреди ковыля, где и журавли, и драхвы[143] с головами хоронятся и верхового латника с копьем вместе не видно: там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает

---

[142] Кали́ки перехо́жие – странники, поющие духовные песни и былины.

[143] Драхва́ – степная птица размером с индейку.

только козявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустынник называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок – этим обоим самый младший брат – потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных болот[144] и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песья муха, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится; имя ему Водовик, а век его триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большою опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калики Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собою по мягкой плетушке соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калики настлать на донышко сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничкам. И всадить старичков надо вежливо, по-учтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разучилися, а тела у них так изветшились, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Во-

---

[144] Раме́дный (раме́нный) – расположенный в лесу рядом с пашней.

довика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчее в плетушечки и принесли бы к королю на закорочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста заденут цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл да им бы завидовал. А дорóгой чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа[145], потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него все не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно, и в какой чин они захотят – в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлет на тот манер, как самим им понравится, – хоть в колымагах на тавреной, пушной кошме[146], хоть опять на мхе и

---

[145] Укрóп – здесь: горячая вода.

[146] Тавре́нная, пушна́я кошма́ – войлочный ковер из овечьей шерсти с клеймом

на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, – и во все концы королевства рассыпались, – в каждый след все по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкою в переменочку.

Шли они, шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще без толку, и зашли уже на самый край королевства— дальше чего и идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах песьи головы. Но чуть только три пары послов завернулися, вскоре же обрели всех трех старичков – одного в лесу, другого в поле, а третьего посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

– Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами честью откройтеся, а то ведь мы вам не таковские – запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то переворотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились, – и так до трех раз от-

---

мастера.

хлопали, а после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелетные птицы их не запачкали, и понесли к королю на закорочках, друг с дружкою ношей меняючись.

IV

Сошлися все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из опочивальни королевиной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становилися. Помылся король майоранным мылом и щелоком с кучерявою мятой, с душицею, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народишку, а послы тут зараз лопухи с плетушечек сняли прочь и Доброхоту старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошел к старцам с улыбкой приветною; но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные – в чем душа в теле держится, то от страха и руки в рвань.

Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

– Спрашивал, – говорит, – я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать

раз слышано. Нуте-ка вы, – вы вот много лет всё молчали и устремляли умы на высокое, – прошу я вас честию: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетушечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался.

– Что же, – говорит, – вы молчите, как истуканы и чучелы? Я посылал за вами много людей полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю, – значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смекните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противляетесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя[147] рассечь или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведаешь, а если сдать их честь честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат – все рассыплются в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых со-

---

[147] Поломя́ – пополам.

ветчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые старцы упрямятся и что ему с ними надо сделать – как их понудить, чтоб они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвечают:

– Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

– А чем я испортил? – вопросил король.

– А испортил ты тем, что понизил высокий сан – стал с простыми людьми вровнях разговаривать; вот они через это теперь и зазналися. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже, – потому что твое дело средь всех людей особливое. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам – мы от них всю их премудрость доведаем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

– Не сердись, – говорит, – ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твое особливое, а они – не прогневайся – опростилися и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на тебя не надеются!

– Значит, глупы они, – отвечал король, – в сем вина тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

– Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоем дворе поживут – сполируются и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихою, – скажут так, что ничего не будет тебе и другим непри-

ятного и все будет то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые, – а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гусляра Разлюляя-гудошника – он измигул мужичонко, лядащенький[148], ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрехом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пустолайкой и враз у старичков правды допросится, – обойдет их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гусляра Разлюляя-гудошника и сказал ему:

– Ты, лядащий мужик, измигул[149] неработистый, только хари гнешь да врешь не знать что пустолайкой, – здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую стать. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе свое государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится?

И закончил король Разлюляю решением:

---

[148] Лядáщенький – хиленький, слабенький.

[149] Измигýл – бездельник, лодырь; здесь: насмешник, пересмешник.

– Узнаешь премудрость – дам тебе сто рублей, а не узнаешь – велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как Бог в небеси, – что я сказал, то и станется.

V

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он одет в зипунишечке в пестреньком – один рукав кармазинный, а другой лазоревый, на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные[150], а подпоясочка лыковая, – не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей, – на которого ни глянь, сразу знать, что все – Разлюляевичи. Ходит он повсюду болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылися людям после время Горохова. Никто его не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет варакушкой[151], на руках идет, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королев приказ, позабыл он все свои забавы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь, – что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошел Разлюляй к старикам и начал

---

[150] Пестряди́нные – грубые пёстрые или полосатые.

[151] Вара́кушка – певчая птица семейства дроздовых.

вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами[152] и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

– Ох вы гой сей, старички справедливые, треблаженные, Божьи молчальнички, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потаите от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошелочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

– Мне нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется – не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошелочках под полати в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь – спаси только Господи. Вот вы на этот счет пораздумайте: каково-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитеся после того ни

---

[152] Митуси́ть нога́ми – суетиться.

к стру[153], ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в царство небесное, а так и останетесь висеть под полатями.

Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пустобрех как увидал, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую, – сейчас побежал к королю и говорит:

– Что мне от твоей милости сказано, я все это уже выполнил: старички уже теперь полируются – стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, – одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они высловят, какие премудрости.

Как пришел король да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется – об ивовое плетение, как поросенок, всеми боками трется, а сам робко пыхтит и тихо покрехтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?» Старик Дубовик прошептал:

– Оттого, что люди не знают: какой час важнее всех.

Доброхот нагнулся к другому – к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

– Оттого, что не знают: какой человек нужнее всех.

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

– Оттого, что не знают: какое дело дороже всех.

И так молчальникам трудно это было проговорить с от-

---

[153] «…ни к стру» – ни к строю.

вычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на донышках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться, доведаться и еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладо́нке положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под полатями и держать их там, пока они не скажут: «какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех».

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатями в их плетушечках, посыпали им пшенной кашки, чтоб они впросоночках зоблили[154], и поставили на верхнем полу ведерцо воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу – проснулся в первые петухи сынок кравчего[155], побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы променять его на подторжье на пряники. А потом еще не поспалось самому королю Доброхоту премудро-

---

[154] Зо́блить – есть жадно, выхватывать пищу; есть с руки.

[155] Кра́вчий – боярин, ведающий царским столом.

му: все казалось ему, будто его закожные блошки покусывают. Провалялся он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться – без сна лежать, только маяться; встал он горошком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришел король в избу, подставил себе к полатям приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки, – так и рот раскрыл и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустехоньки, и ни от одного старичка ничего не осталося, кроме смятого места да наседней. Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялися, ничего не осталося.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-нибудь без остаточка!.. Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается – мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках пол-

зать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот и насилу нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднес Доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щёкота королю сразу полегчало: он стал похохатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустынники, не извел ли их кто какою отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душою куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное[156] по середам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать – что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

– Пропоем о них панихидочку, вспомянем их кануном на паперти да у себя по домам блинками с припекою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах на-

---

[156] Скоро́мное – продукты животного происхождения, которые нельзя есть в пост.

ших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится – про то, значит, и думать не следует: на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не дано. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, – а сказал он так:

– Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь ее над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негожее: не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами сели в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам. А король говорит:

– Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустилися? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать

только в моем тереме, да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

VI

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье, узнала опять обо всем об этом королевская мама чуждянка-доилица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по-учтивому:

– Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать: куда делися старчики. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настращал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к полатям в избе, где держишь совет свой с своими боярами. Старчики век сидеть и всё слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого от вереда и слышала, как они друг со дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточкой[157], а потом зачали в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

– Где же они теперь? – закричал король.

– А теперь их и след простыл: уползли на карачках с твоего двора и все в буйной траве без следочка и скрылися. Те-

[157] Загне́точка (загне́тка) – место на шестке печи, куда сгребаются угли.

перь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

– Отчего же оно не касается?

– Оттого, что приснился мне вещий сон, и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старчиков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу[158].

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собиралися; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобёнки[159] раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки, в жиру кипяченые, да блины с разною с припекой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта, пить допьяна, а напившись – кости и зернь метать, и играв

---

[158] Ше́легу – монета.

[159] Зобёнка – корзина.

– подрались и друг дружке под очи синявы наметили, а потом помирилися, на синие места муки с медом намазали и легли, крепко выспались, а как хмель прошел и синяки позаиндевели, – послы все назад возвратилися и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожилися, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботилась.

– К этакой, – говорят, – если б была она, весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувыркнулся.

VII

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

– Неужели же я так и умру, не доведавшись: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

– Если будешь все бояр рассылать, – пожалуй, что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонко корявый, лядащенький, говорит пустолайкою, и за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на пле-

чо перекинет пенечную оброть[160] конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идет, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежалися». И пусть так идет куда знает сам и проходит хоть сквозь целый белый свет: где ж нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартарары она небось не провалится.

– Хорошо, – отвечал король, – все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлем Разлюляя во место больших бояр; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

– Обещай что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь – будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь – тоже стерпится: на тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один Бог судья: твое дело совсем особливое.

– Это правда, – отвечал король, – на земле мы не судимся, ну, а все-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно как по бирочке[161].

– Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностай[162] против прежнего: если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а

---

[160] Óброть – конская узда без удил.

[161] Би́рочка (би́рка) – палочка или дощечка, на которой записывают число, меру и т. п.

[162] В одностáй – одинаково.

если не исполнит – не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, Бог с ним, пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание.

– А как он и девицы не найдет и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой человек, ему везде все равно – в целом мире отечество.

– Ну, про это, – сказала старуха, – я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского судового дьяка, который послам ярлыки дает за печатями; дьяк тебе это дело все оборудует.

Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью[163], и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляя в последний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

– Пригрози-ка так, – сказал дьяк, – Разлюляй хотя и пустой человек, а дети всякому своя кровь: небось и он пожа-

---

[163] Подья́чий с при́писью – писец, удостоверяющий своей подписью официальные бумаги.

леет ребят и жену и назад придет. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самого Разлюляя жаль, но и дьяк и подьячий с приписью его успокоили.

– Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюляя в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толоконца за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюляю нигде кормов и не надобно. Оголодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюляю не для чего: на нем чина большого не кладено; ударят по шее – согнется, а запрут где-нибудь – выерзнет подворотнею и опять пойдет веселехонек.

Измигул же и нетяг[164] Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпрашиваться и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умен, и не знатен он, и на все языки не выучен, и не с каждым вровнях говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдоволе и во всех смыслах научение; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах оброть конская, – будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смирным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал и, когда не давали вина, не пьянствовал, а все шел вперед; долго ли, коротко ли, и зашел он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей, и звероловов, и коробейников, и пахарей, и у всех, ко-

---

[164] Нетя́г – крестьянин, не платящий тягла (подати) по болезни, старости и проч.; здесь: дармоед, лентяй.

го встречал, всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но никто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспрашивал, сами хотели знать от него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разнос: то будто он своему королю у Бога довечного живота просил и все в землю кланялся, то будто сам за свои грехи каялся. Наконец повстречался он раз с воровским Цыганом, под самую Пасху великую, и тоже стал у того Цыгана про свое дело спрашивать; но Цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

– Ты мне прежде сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою, и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но Цыган говорит:

– Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся по истине.

– А по истине, – говорит Разлюляй, – я в бане мылся да с полка свалился.

– Что же ты за полок-то не уцепился?

– Очень угоревши был.

– Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне все по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые – вас и кормят, и поят, и спины вам порют – чего еще надобно! Теперь мне с тобою

вдвоем ночевать не страшно, – отвечал Цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натоще отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал Цыган, съел все толокно, украл оброть, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних портках да в рубахе и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростам и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами, а в Сира́хову книгу Премудрости[165] не заглядывает. Ниоткудова нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только всё ему бедства множатся, и идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие. Тут-то над ним, наконец, Бог и сжалился – даровал ему встречу желанную.

---

[165] Сира́хова кни́га Прему́дростей – входяща в Библию книга Премудрости Иисуса, сына Сираха.

VIII

Сам не свой, Разлюляй шел все далее, и зашел в самый темный лес, и заснул на мху на поляночке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь прокинулся[166], и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек, – стоит да с лип лычко дерет, а устами поет тихо Спасов стих.

Разлюляй думает: «Что это – либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, с старичком поздороваться?..» Взял и сказал ему по-учтивому:

– Помогай Господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

– Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

– Хорошо, – говорит старичок, – Разлюляй – имя веселое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели?

Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал, и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

---

[166] Прокинулся – проснулся.

– Твое дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

– Помоги ради Господа, дедушка, а тебе Господь Бог заплатит сторицей.

– Да, Господь-то, Господь, всем нам батюшка, а по нем и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухою тропиночкой; теперь уж горазд ночи убыло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь[167], а с терпением, и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего сохранителя-ангела. Так пройди ты через весь долгий черный лес, и придет тебе там впоперек пути холодная балочка; ты переплынь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней посредине приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него все как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. Не то его в небе орел подшиб, не то не знать для чего подстрели княжьи охотники: они убивать и зверков и птиц спаси Господи какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла, да такая, Бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку – вот она того журавля нашла да в лубочек ему хворую ножку и пóвила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядает его и

---

[167] Бóрзиться – торопиться, спешить.

дает ему зернышки, пока журавелько поправится да дождет себе по поднебесью в теплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке[168] наших овец пасет. Ты узнаешь ее – такая девица пригожая, глазом посмотришь – век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо во́лну[169] разбирает, либо шерсть прядет… Все сиротинкам готовит к студеной поре на паглинки[170]… Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее: она тебе может все рассудить, потому что дан ей от Бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

– Боже мой! – говорит. – Ведь ее-то мне только и надобно! Про нее, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

– Вестимо, не надобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

– А кто же еще там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

– Господь с ней один там, один Господь-батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких, милый, нетути.

– Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупился.

– Полно-ка, – говорит, – заводить нам про боязнь да про

---

[168] Взло́бок – возвышение на местности.

[169] Во́лна – овечья шерсть.

[170] Па́глинки (пого́ленки) – род чулок от ступни до колена, гамаши.

страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

– Господи! Вот это она и есть! – завопил Разлюляй. – Вот это ее-то одну мне и надобно!

И забыл Разлюляй про всю усталь свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачется, и на радости не свистит соловьем, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поет благочестный стих:

Как шел по пути слабый путничек,
А навстречу ему сам Исус Христос.

Пробежал так Разлюляй без устали весь и черный и красный лес, переплыл без боязни холодную балочку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль, одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет Разлюляй – чужой человек, вдруг закурлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге ко взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом старый пень, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканой сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился

старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

IX

Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось – все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного – точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряденную шерстяную куделю[171] за веточку, и пошла тихо к кустику, за которым стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал ее. Тут уже Разлюляй и не вытерпел – вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей повежливому, и заговорил с ней по-учтивому:

– Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала:

– Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король», – не знаю я, и из каких ты людей – это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел – не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

---

[171] Куде́ль – волокнистая часть льна или пеньки, приготовленная для пряжи.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все на́чисто.

– Так и так, – говорит, – вот что у нас в королевстве случилося: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех? Вот за этим-то делом и послан я: и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут, как к матери; пожалей же и меня, бедняка, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своем теле сто плетей, мне и без бойла теперь уже мочи нет.

Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать, – улыбнулась и молвила:

– Хорошо, что ты не задал мне дело трудное, сверх моего простого понятия, а загадал дело Божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

– Молви, девица: какой час важнее всех?

– Теперешний, – отвечала девица.

– А почему?

– А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен.

– Правда! А какой человек нужнее всех?

– Тот, с которым сейчас дело имеешь.

– Это почему?

– Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

– А какое же дело дороже всех?

– Добро, которое ты в сей же час этому человеку поспеешь сделать. Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

– Отгадала все! – вскричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскликала и спросила:

– А чем ты, посол, уверишь пославшего, что ответу ему от меня принес, а не сам собой это выдумал?

Разлюляй почесал в голове и задумался.

– Я, – говорит, – об этом, признаться, не взгадывал.

А девица ему говорит:

– Ничего, не робей, я тебе дам для уверенья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и не ста плетей, а когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам, да вдовам, и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принес тебе светлый Божий дар – простоту разумения, так за Божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

– Хорошо; я так все и сделаю.

С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал: пришел он и стал говорить с королем все по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста рублей, а сказал ему слово про Божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разуменье дано нам от Господа. Тут бояре, и дьяки, и подьячие все поднялися с свистом и с хохотом и все враз над ответами Разлюляя смеялися и старалися сбить короля, чтобы он

не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повыдумал. Но, однако, король Доброхот показал и свое разумение и на их наученья не подался. Он сказал им:

– Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему приобещанных сто рублей, а он, как я вижу, мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалося. Издаю вперед повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться без челяди. Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюляю же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда

там на пасеке, в теплом омшанике[172], и есть сотовый мед с огурцами и с репою, сколько похочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слыхал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать.

Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотою тростию на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей[173], со брегами широкими во все стороны, и прикладать ко былым словам в стать письмена небылишные, гласные и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями: пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут всё опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли Божией.

На том старая сказка и кончена.

---

[172] Омша́ник – утепленное помещение для зимовки пчел.

[173] За́лизи – здесь: промежутки между строками.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912)

Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст… Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнет от разных случайностей, – вообще, было о чем серьезно подумать.

Серьезная, большая птица – лебеди, гуси и утки собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига, а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички – кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой, по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил

горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа… Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

– И куда эта мелочь торопится! – ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. – В свое время все улетим… Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

– Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, – объяснила его жена, старая Утка.

– Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

– Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, – любо на них посмотреть. Живут душа в душу… Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда – впереди выводка. Да, да… А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом… Смотреть-то на тебя даже противно!

– Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки… Я не виноват, что гусь – глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило – не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет посвоему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

– Какой ты отец? – накинулась она на мужа. – Отцы заботятся о детях, а тебе – хоть трава не расти!..

– Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват…

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

– Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, – повторяла Утка со слезами. – Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна… Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть… Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе…

– А другие дети?

– Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, – жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнует-

ся, а нужно смотреть на вещи просто. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, – ведь все равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая Утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедная Серая Шейка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

– Ведь вы весной вернетесь? – спрашивала Серая Шейка у матери.

– Да, да, вернемся, моя дорогая… И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

– Как-нибудь, милая, перебьешься, – успокаивала старая Утка. – Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, – совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда…

Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

– Я буду всё время думать о вас… – повторяла бедная Серая Шейка. – Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам… Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки!.. Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время! Был уже целый ряд холодных утренников, от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и самая река казалась больше, потому что берега оголились – береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы…

Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали промерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносив-

шуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо!» – думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом – всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости…

Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла всё.

– Нужно отправляться… пора! – говорили старики вожаки. – Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело… Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков.

Старая Утка не спала всю ночь – это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

– Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, – советовала она. – Там вода не замерзнет целую зиму…

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая…

Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки всё сердце изболелось за бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

– Ну, трогай! – громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетевший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? – думала Серая Шейка, заливаясь слезами. – Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса меня съела…»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое – и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» – думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было доста-

точно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы.

Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем выкатил Заяц.

– Ах, как ты меня напугала, глупая! – проговорил Заяц, немного успокоившись. – Душа в пятки ушла… И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели…

– Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я была еще совсем маленькой…

– Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается… Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает…

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

– Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, – говорил он. – А я постоянно дрожу со страху… У меня – кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё еще не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сон-

ную.

Так и случилось. Была тихая-тихая, звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным, искрившимся светом. Бурлившая днем, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен.

Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса – это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

– А, старая знакомая, здравствуй! – ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. – Давненько не видались… Поздравляю с зимой.

– Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, – ответила Серая Шейка.

– Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят… Пока – до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

– Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц.

Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу.

Да, чу́дно хорошо было кругом! А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота – не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

– Соскучилась я по тебе, уточка… Выходи сюда, а не хочешь, так я и сама к тебе приду… Я не спесива…

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

– Какая ты глупая, уточка… Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам…

Лиса начала приходить каждый день – проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно, в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса

сидела и зло посмеивалась над ней:

– Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем… Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

– Ах, какая бессовестная эта Лиса!.. Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса…

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

– Братцы, берегись! – крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет!» – соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес как сумасшедшие.

– Ах, лукавцы! – рассердился старичок. – Вот ужо я вас… Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей… А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет… А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы – бегать…

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

– Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! – думал он вслух. – Ну, вот отдохну и пойду искать другую.

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, – Лиса по реке ползет, – так и ползет, точно кошка.

– Ге, ге, вот так штука! – обрадовался старичок. – К старухиной-то шубе воротник сам ползет… Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испортить, – соображал старик, прицеливаясь в Лису. – А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется… Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем

воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, – и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, только руками развел: воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

– Вот так штука! – ахнул старичок, разводя руками. – В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась… Ну и хитёр зверь!

– Дедушка, Лиса убежала, – объяснила Серая Шейка.

– Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе… Что же я теперь буду делать, а? Ну, и грех вышел… А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

– А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено…

– Ах, глупая, глупая!.. Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест… Да…

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

– А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются… А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая…

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху.

«А старухе я ничего не скажу, – соображал он, направляясь домой. – Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное – внучки вот как обрадуются…»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку

Присказка

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешенье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушанье. Из сказки слова не выкинешь, а что было, то и быльём поросло. Только бежал мимо косой заяц – послушал длинным ухом, летела мимо жар-птица – посмотрела огненным глазом. Шумит-гудит зеленый лес, расстилается шёлковым ковром трава-мурава с лазоревыми цветиками, поднимаются к небу каменные горы, льются с гор быстрые реки, бегут по синю морю кораблики, а по темному лесу на добром коне едет могуч русский богатырь, едет путем-дорогою, чтобы добыть разрыв-траву, которой открывается счастье богатырское. Ехал-ехал богатырь и доехал до росстани, где сбежались три пути-дороженьки. По какой ехать? Поперек одной лежит дубовая колода, на другой стоит березовый пень, а по третьей ползет маленький червячок-светлячок. Нет дальше ходу богатырю.

– Чур меня! – крикнул он на весь дремучий лес. – Отвались от меня нечистая сила…

От этого покрика богатырского с хохотом вылетел из березового дупла сыч, дубовая колода превратилась в злую ведьму и полетела за сычом, засвистели над богатырской головой черные вороны…

– Чур меня!..

И вдруг всё пропало, сгинуло. Остался на дороге один червячок-светлячок, точно кто потерял дорогой камень-самоцвет.

– Ступай прямо! – крикнула из болота лягушка. – Ступай, да только не оглядывайся, а то худо будет…

Поехал богатырь прямо, а впереди поляна, а на поляне огненными цветами цветут папоротники. За поляной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают русалки с зелеными волосами и смеются над богатырем девичьим смехом:

– У нас, богатырь, разрыв-трава! У нас твое счастье…

Задумался могучий богатырь, остановился добрый конь. Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ребятки? – это только присказка, а сказка впереди.

I

Жил-был, поживал славный царь Горох в своем славном царстве гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все дру-

гие веселились с ним.

– Ах, какой у нас добрый царь Горох! – говорили все.

А славный царь Горох слушает, бородку поглаживает, и еще ему делается веселее. Любил царь Горох, когда его все хвалили. Потом любил царь Горох повоевать с соседними королями и другими славными царями. Сидит-сидит, а потом и скажет:

– А не пойти ли нам на царя Пантелея? Что-то он как будто стал зазнаваться на старости лет… Надо его проучить.

Во́йска у царя Гороха было достаточно, воеводы были отличные, и все были рады повоевать. Может быть, и самих побьют, а все-таки рады. Счастливо воевал царь Горох и после каждой войны привозил много всякого добра – и золотой казны, и самоцветных каменьев, и шелковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку: мука – подавай сюда и муку, дома пригодится; корова – давай и корову, сапоги – давай и сапоги, масло – давай и масло в кашу. Даже брал царь Горох дань лыком и веником. Чужая каша всегда слаще своей, и чужим веником лучше париться.

Все иностранные короли и славные цари завидовали удаче царя Гороха, а главное, его веселому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо:

– Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда у него веселый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться.

Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у веселого царя Гороха тоже есть свое горе, да еще не одно, а целых два горя. Знала об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Царь и царица от всех скрывали свое горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было шесть пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, шестой палец – пустяки, можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что благодаря этому шестому пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне:

– Кажется, взял бы всё на свете одному себе… Разве я виноват, что у меня так рука устроена?

– Что же, бери, пока дают, – утешала его царица Луковна. – Ты не виноват. А если добром не отдают, так можно и силой отнять.

Царица Луковна во всем и всегда соглашалась с своим славным царем Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто и не подозревал, что у славного царя Гороха шесть пальцев на руке и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя.

II

Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первым у славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый царевич Орлик, потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты, а третьей родилась маленькая-маленькая царевна Горошинка, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои сережки. Маленькой царевны Горошинки решительно никто не видал, кроме отца с матерью.

– Что мы с ней будем делать, царица? – спрашивал в ужасе славный царь Горох. – Все люди родятся, как люди, а наша дочь с горошинку…

– Что же делать – пусть живет… – печально отвечала царица.

Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошинка. А мать любила свою Горошинку больше, чем других детей, – тех и другие полюбят, а эта мила только отцу с матерью.

Царевна Горошинка выросла ростом в горошинку и была так же весела, как отец. Ее трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горо-

шинка выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошинка едва вскарабкается на нее. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва ее найдет, а сама боится пошевелиться, чтобы, грешным делом, не раздавить родного детища. Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну Горошинку, и она пряталась у него в бороде, как в лесу.

– Ах, какая она смешная! – удивлялся царь Горох, качая головой.

Маленькая царевна Горошинка тоже удивлялась. Какое всё большое кругом – и отец с матерью, и комнаты, и мебель! Раз она забралась на окно и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в наперсток, так что царь Горох едва ее нашел.

Всего хуже было то, что, как царевна Горошинка стала подрастать, – ей хотелось всё видеть и всё знать. И то покажи ей, и другое, и третье… Пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох – нечего делать, хоть и царь, а мастери для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошинки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну,

и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошинка упросила мать взять ее с собой в сад.

– Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают, – упрашивала царевна Горошинка. – Я ничего не сломаю и не испорчу…

– Ах, что я с ней буду делать? – взмолилась царица Луковна.

Однако пошли в сад. Царь Горох стоял настороже, чтобы кто-нибудь не увидал царевны Горошинки, а царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошинка и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошинка забралась в траву, а там сидела толстая, старая лягушка – увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой.

III

Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошинка, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки на-

чали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и всё гороховое царство. Да и было отчего приуныть: состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам.

– Никому не верю! – говорил царь Горох им в глаза. – Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверно, смеетесь надо мной… Всё знаю! Лучше и не оправдывайтесь.

– Помилуй, славный царь Горох! – взмолились бояре и воеводы. – Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать… Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя.

– Знаю, знаю. Правые люди не будут оправдываться. Вы только то и делаете, что ждете моей смерти.

Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал – и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кощей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости, да, кроме того, сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что столько добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта.

– Воры вы все! – корит царь Горох своих поваров. – Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскаете, а

мне одну жижу оставите.

– Смилуйся, царь-государь! – вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах. – Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков…

– Знаю, знаю. У меня всё царство вор на воре – вором погоняет.

Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна – и та голодала. Плачет, а попросить кусочка хлеба не смеет у царя. Исхудала бедная и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошинку. Царевна Горошинка была сыта крошечками…

«Испортили царя! – думали все. – Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли испортить всякого человека… А какой был у нас славный да веселый царь!..»

А славный царь Горох с каждым днем делался всё хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну.

– Однако сколько у меня развелось изменников! – удивляется славный царь Горох. – Это они у меня столько всякого добра наворовали… А я-то по простоте ничего и не заме-

чаю. Еще бы немного, так я бы сам с голоду помер…

IV

С каждым днем славный царь Горох делался всё хуже и хуже, а народ всё искал, кто его испортил. Искали-искали и наконец нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая… Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой, а то еще хуже – бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и всё зло по гороховому царству пошло. Доказательства были все налицо: славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней, и теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох, и никому больше.

– Что нам делать теперь? – жаловались все друг другу. – Домашний враг сильнее всех… Погубит прекрасная царевна Кутафья всё царство. Некуда нам деваться от колдуньи…

Впрочем, оставалась еще одна последняя надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все не хороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть, выйдет она замуж,

и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, рядили, передумывали, а прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король Косарь, красавец и богатырь, каких поискать, но и он получил отказ, то есть отказал ему сам царь Горох.

– Королевство у тебя маловато, король Косарь, – заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку. – Еле-еле сам сыт, а чем жену будешь кормить?

Обиделся король Косарь, сел на своего коня и сказал на прощанье царю Гороху:

– Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?

Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля Косаря: молод-де еще, на губах молоко не обсохло!

Царевны, прекрасной Кутафьи, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать – отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище.

Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король Косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец король, да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царем.

Не успел славный царь Горох оглянуться, как король Косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он

пошел войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал.

– Управляйся, как знаешь, – сказал он через послов царю Пантелею. – Всякому своя рубашка ближе к телу.

Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король Косарь.

– Напрасно ты мне не помог, – укорял он царя Гороха. – Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет.

– Это мы еще увидим, а твой Косарь – молокосос…

V

Завоевав царство Пантелея, король Косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые и сказали:

– Отдай нашему храброму королю Косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею.

Рассердился царь Горох и велел казнить Косарёвых послов, а самому королю Косарю послал собаку с обрубленным хвостом. Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста…

Рассердился и король Косарь и пошел войной на горохо-

вое царство, идет – и народ, словно косой, косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил, а воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король Косарь подступил уже к самой столице, обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлет послов к славному царю Гороху.

– Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю Косарю, – говорят послы. – Ты первых послов казнил и нас можешь казнить. Мы люди подневольные.

– Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю! – ответил царь Горох. – Пусть сам берет, если сумеет только взять… Я ведь не царь Пантелей.

Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать:

– Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты… Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня, несчастной, напрасно льется кровь и гибнут люди…

– Вот как? Отлично… – ответил славный царь Горох. – Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька… Может быть, тебе хочется замуж за короля Косаря? Ну, этого ты не дождешься! Всё царство загублю, а тебе не бывать за Косарём…

Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую башню, где томились и

другие заключенные, а в подвал были посажены Косарёвы послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну.

– Отдай нам наши города, взятые королем Косарём! – кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди. – Отдай всех, которых убил король Косарь! Из-за тебя мы и сами перемрем все голодной смертью… Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким.

Страшно делалось прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова. Ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец ее возненавидел ни за что… Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет, день и ночь плачет.

– И для чего я только уродилась красавицей? – причитывала она, ломая руки. – Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой… А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец!

А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали:

– Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду. Если нас не жалеешь, то пожалей наших детей.

VI

Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала

она, что дочка ни в чем не виновата. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошинка и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери – такая большая женщина и так плачет.

– Мама, скажи, о чем ты плачешь? – спрашивала она. – Ты только скажи, а я попрошу отца… Он всё устроит.

– Ах, ты ничего не понимаешь, Горошинка!

Царица Луковна и не подозревала, что Горошинка знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был не обыкновенный ребенок. Горошинке улыбались цветы, она понимала, о чем говорят мухи, а когда выросла большой, то есть ей исполнилось семнадцать лет, с Горошинкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть – и Горошинка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошинка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и всё рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она пролетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-Горошинка полетала около нее, пожужжала и наконец проговорила:

– Не убивайся, сестрица. Утро вечера мудренее…

Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос.

– Это я, твоя сестренка Горошинка.

– У меня нет никакой сестрицы…

– А я-то на что?

Горошинка рассказала о себе всё, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним: именно, что маленькая сестренка Горошинка умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые.

– Нет, я не колдунья, – объясняла обиженная Горошинка. – А только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок, а какой зарок – никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку, а что – не знаю.

Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях: как она жалела отца, который сделался злым, а потом, сколько горя из-за нее терпит теперь всё гороховое царство. А чем она виновата, что король Косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал ее ни разу.

– А тебе он нравится, сестрица? – лукаво спросила Горошинка.

Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела.

– Раньше нравился… – объяснила она со смущением. – А теперь я его не люблю. Он – злой…

– Хорошо. Понимаю. Ну, утро вечера мудренее…

VII

Всё гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю Косарю, а во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица, сидит и не шелохнется.

– Ты как сюда попала? – удивились тюремщики.

– А так… Вот пришла и сижу.

И девица какая-то особенная – горбатая да рябая, а на самой надето платьишко худенькое, всё в заплатах. Пришли тюремщики в ужас:

– Что ты наделала-то, умница? Ведь расказнит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи…

Побежали во дворец и объявили всё. Прибежал в башню сам славный царь Горох – так бежал, что и шапку дорогой потерял.

– Всех казню! – кричал он.

– Царь-государь, смилуйся! – вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. – Что хочешь делай, а мы не виноваты. Видно, посмеялась над нами, бедными, прекрасная царевна Кутафья…

Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая как ни в чем не бывало сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков.

– Да ты откуда взялась-то, красота писаная? – строго спросил он.

– А так… Где была, там ничего не осталось.

Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица и нисколько его не боится.

– А ну-ка, повернись… – сказал он удивляясь.

Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится – заплата на заплате. «Этакую ворону и казнить даже не стоит», – подумал славный царь Горох.

Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются.

– Как тебя звать-то, красавица? – спросил царь Горох.

– А как нравится, так и зови… Прежде звали Босоножкой.

– А ты меня не боишься?

– Чего мне тебя бояться, когда ты добрый… Так и все говорят: какой у нас добрый царь Горох!

Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят…

– Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда щей

и каши, – приказал царь Горох. – А я сам буду сторожить. Дело не чисто…

А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король Косарь, прекрасная дочь Кутафья исчезла, а тут еще пропала царевна Горошинка. Искала-искала ее царица по всем комнатам – нет нигде Горошинки.

«Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал», – думала царица Луковна и еще больше плакала.

VIII

В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король Косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю Косарю. Каждое утро злой король Косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое:

«Эй ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось – приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет – у тебя не борода, а мочалка».

Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости.

Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха – всё равно умирать. Голод-

ные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его:

– Вот, старый колдун караулит ведьму-дочь. Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру. Эй, Горох, выходи лучше добром!

Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притеснял всех? Пока был добрый – всё было хорошо. Гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь Горох, как следовало жить, да поздно. А тут еще рябая девица сидит у окошечка и поет:

Жил да поживал славный царь Горох,
Победить его никто не мог…
А вся сила в том была,
Что желал он всем добра.

– Правда, правда… – шептал царь Горох, обливаясь слезами.

Потом мудреная девица сказала ему:

– Вот что, славный царь Горох… Не ты меня держишь в башне, а я тебя держу. Понял? Ну, так довольно… Нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой – царица Луковна очень соскучилась о тебе. Как придешь домой – собирайся в дорогу. Понял? А я приду за вами…

– Как же я пойду – меня убьют дорогой.

– Никто не убьет. Вот я тебе дам пропуск…

Оторвала девица одну заплатку со своего платья и подала царю. И действительно, дошел царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал, даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать во дворец.

Славный царь Горох хотел было рассердиться и тут же всех казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам:

– Мне бы только увидать царицу Луковну. Всего одно словечко сказать…

Слуги смилостивились и допустили старика к царице. Когда он шел в царские покои, они сказали ему одно:

– Царица у нас добрая, смотри не вздумай просить у нее хлеба. Она и сама через день теперь ест. А всё из-за проклятого царя Гороха…

Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул:

– Бежим скорее. После всё расскажу.

Сборы были короткие – что можно унести в руках. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила Горошинка. Скоро пришла и Босоножка и повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил:

– Что же это вы меня одного оставляете?

– Ну идем с нами… – сказала Босоножка. – Веселее вместе идти.

IX

Король Косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать города приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Всё равно сами сдадутся, когда «досыта наголодаются».

От нечего делать веселится злой король Косарь в своей королевской палатке. Веселится и днем, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни… Всем весело, только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик, красавец Орлик, о котором тосковали все девушки, видавшие его хотя бы издали. Это был орленок, выпавший из родного гнезда. Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьется над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог.

– Это какая-то проклятая птица! – решили все.

Как ни веселился король Косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осажденный город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король Косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в

столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал.

– Завтра казнить царевича Орлика! – приказал король Косарь. – Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадется мне в руки. Пусть помнят, какой был король Косарь!

К утру всё было готово для казни. Собралось всё королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича.

Король Косарь вышел из палатки и махнул платком – это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвилась над землянкой пленного царевича и страшно затрещала. Она вилась над самой головой короля Косаря.

– Что это за птица? – рассердился король Косарь.

Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет – кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может.

– Убейте ее! – кричит король Косарь. – Да нет, куда вам… Давайте мне мой лук и стрелы. Я покажу вам, как нужно стрелять…

Натянул король Косарь могучей рукой тугой лук, запела оперенная лебединым пером стрела, и свалилась с маковки

сорока.

Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король Косарь, припал на колени и в ужасе проговорил:

– Девица-краса, что ты со мной сделала?

Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила:

– Не вели казнить брата Орлика…

Король Косарь махнул платком, и стража, окружающая царевича, расступилась.

X

Ведет Босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Всё задирает царь Пантелей.

– Ах, какое у меня отличное царство было!.. – хвастается он. – Такого другого царства и нет…

– Вот и врешь, царь Пантелей! – спорит Горох. – Мое было не в пример лучше…

– Нет, мое!..

– Нет, мое!..

Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей го-

ворит, что его царство было лучше?

Опять идут.

– А сколько у меня всякого добра было! – говорит царь Пантелей. – Одной казны не пересчитаешь. Ни у кого столько не было.

– Опять врешь! – говорит царь Горох. – У меня и добра и казны было больше.

Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала:

– Перестань, старик… Ведь ты же хотел быть добрым?

– А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым? – сердится славный царь Горох.

Всякий думает о своем, а царица Луковна – всё о детях. Где-то красавец царевич Орлик? Где-то прекрасная царевна Кутафья? Где-то царевна Горошинка? Младшей дочки было ей больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошинки… Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом.

А цари отдохнут и опять спорят. Спорили-спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла.

– Перестаньте вы грешить, – уговаривала она их. – Оба лучше… Ничего не осталось, так и хвалиться нечем.

– У меня-то осталось! – озлился славный царь Горох. – Да, осталось… Я и сейчас богаче царя Пантелея.

Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои шесть пальцев и говорит:

– Что, видел? У тебя пять пальцев всего, а у меня целых шесть – вот и вышло, что я тебя богаче.

– Эх, ты, нашел чем хвалиться! – засмеялся царь Пантелей. – Уж если на то пошло, так у меня одна борода чего стоит…

Долго спорили цари, опять чуть не подрались, но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими шестью пальцами и довел человека до слез?

– Послушай, царь Пантелей… – заговорил он. – Послушай… брось!..

– Никак не могу бросить, царь Горох.

– Да ты о чем?

– А я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю Косарю. Всё равно помирать голодною смертью…

Подошла Босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей да как закричит:

– А что же ты, такая-сякая, щей мне не даешь?! По-твоему, цари всухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу…

– Перестань, нехорошо… – уговаривал царь Горох. – Хорошо, когда и кусок хлебца найдется.

XI

Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили, а Босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах да черемуховой палкой подпирается.

Царица Луковна молчала – боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха, а когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая Босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже. Такой-то уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживаться и спрашивает:

– Эй ты, Босоножка, куда это ты нас ведешь?

Цари тоже перестали спорить и тоже накинулись на Босоножку:

– Эй ты, кривая нога, куда нас ведешь?

Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. А цари так к ней и подступают: сказывай, куда завела?

– А в гости веду… – ответила Босоножка и еще прибавила: – Как раз к самой свадьбе поспеем.

Тут уж на нее накинулась сама царица Луковна и начала ее бранить. И такая и сякая – до свадьбы ли теперь, когда

у всякого своего горя не расхлебаешь. В глаза смеется Босоножка над всеми.

– Ты у меня смотри! – грозилась царица Луковна. – Я шутить не люблю.

Ничего не сказала Босоножка, а только показала рукой вперед. Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город, с каменными стенами, башнями и чудными хоромами, перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили цари и даже попятились назад, а потом царь Пантелей сказал:

– Э, всё равно, царь Горох! Пойдем… Чему быть – того не миновать, а может, там и покормят. Очень уж я о щах стосковался…

Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась.

Нечего делать, пошли. Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут. Царь Горох идет и корит себя, зачем он хвастался перед царем Пантелеем своими шестью пальцами, – болтлив царь Пантелей и всем расскажет. А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала Босоножке:

– Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то еще осрамишь перед добрыми людьми…

Идут дальше. А их уже заметили на стану. Валит навстречу народ, впереди скачут вершники[174]. Приосанились

---

[174] Верховой, всадник.

оба царя, а царь Пантелей сказал:

– Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей и киселем… Очень уж я люблю кисель!..

Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец царевич Орлик и машет своей шапкой. А за ним едет, тоже на коне, прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король Косарь.

– Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом… – забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала Босоножка.

Подъехали все, и узнал славный царь Горох родных детей.

– Да ведь это моя столица! – ахнул он, оглядываясь на город.

Спешились царевич Орлик и царевна Кутафья и бросились в ноги отцу и матери. Подошел и король Косарь.

– Ну, что же ты пнем стоишь? – сказал ему славный царь Горох. – От поклону голова не отвалится…

Поклонился злой король Косарь и сказал:

– Бью тебе челом, славный царь Горох!.. Отдай за меня прекрасную царевну Кутафью.

– Ну, это еще посмотрим! – гордо ответил царь Горох.

С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почетом. Даже царь Пантелей приосанился.

Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась Босоножки, а ее и след простыл. Искали-искали, ни-

чего не нашли.

– Это была Горошинка, мама, – шепнула царице Луковне прекрасная царевна Кутафья. – Это она всё устроила.

Через три дня была свадьба – прекрасная царевна Кутафья выходила за короля Косаря. Осада с города была снята. Все ели, пили и веселились. Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею:

– Давай поцелуемся, царь Пантелей… И из-за чего мы ссорились? Ведь, ежели разобрать, и король Косарь совсем не злой…

XII

Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, Босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула.

– Да откуда ты взялась-то, уродина? – рассердилась старуха.

– Вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила.

– Сестрицы?! Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная!.. Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать – тогда и узнаешь сестрицу Кутафью…

– Мама, да ведь я твоя дочь – Горошинка!

У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села

к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о Горошинке. Весело было на свадьбе, и про Горошинку с радости все и забыли.

– Ох, забыла я про тебя, доченька! – плакалась царица Луковна. – Совсем из памяти вон… А еще Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел!..

Но, посмотрев на Босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила:

– Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошинку… Ни-ни! Просто взяла да притворилась и назвалась Горошинкой. И Кутафью обманула… Не такая у меня Горошинка была…

– Право, мама, я Горошинка, – уверяла Босоножка со слезами.

– Нет, нет, нет… И не говори лучше. Еще царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит…

– Отец у меня добрый!..

– Отец?! Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу, чумазую!

Горошинка заплакала. Она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать, да еще родная мать хочет в чулан посадить.

Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала.

– Вот еще горюшко навязалось! – кричала она. – Ну, куда я с тобой денусь? Придет ужо царь Горох, увидит тебя – что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих…

– Некуда мне идти, мама…

– Какая я тебе мама!.. Ах ты, чучело гороховое, будет притворяться-то!.. Тоже придумает: дочь!

Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут еще, сохрани Бог, царь Горох как-нибудь узнает… Вот беда прикачнулась!

Думала-думала старушка и решила послать за дочерью Кутафьей: «Она помоложе, может, что и придумает, а я уже старуха, и взять с меня нечего…»

Недели через три приехала и Кутафья, да еще вместе со своим мужем, королем Косарём. Всё царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о Босоножке, то есть не совсем забыла, а всё откладывался разговор с Кутафьей.

«Пусть молодые-то повеселятся да порадуются, – думала царица Луковна. – Покажи им этакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся…»

И гости веселились напропалую, а всех больше царь Пантелей – пляшет старик, только борода трясется. Король Косарь отдал ему всё царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться так, что царь Горох даже немного рассердился:

– Что ты лижешь, Пантелей, точно теленок!

– Голубчик, царь Горохушко, не сердись!.. – повторял царь Пантелей, обнимая старого друга. – Ах, какой ты… Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов во-

евать.

– Ну, это дело ты брось… Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни!.. И так проживем…

Чтобы как-нибудь гости не увидали Босоножки, царица Луковна заперла ее в своей комнате на ключ, и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились другие. Гостей наехало со всех сторон видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла веселая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал:

– Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек…

Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радости подбирал полы своего кафтана и пускался вприсядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Не утерпела и царица Луковна – тряхнула стариной. Подбоченясь, взмахнула шелковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками.

– Эх-эх-эх!.. – приговаривала она, помахивая платочком.

– Ай да старуха! – хвалил царь Горох. – Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет…

Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала: очень уж ей было обидно чужое веселье.

XIII

Сидя у своего окошечка, Босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая еще более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и Босоножка ей крикнула:

– Сестрица Кутафья, подойдите сюда!

В первый раз Кутафья сделала вид, что не слыхала, во второй раз – она взглянула на Босоножку и притворилась, что не узнала ее.

– Милая сестрица, да ведь это я, Горошинка!

Красавица Кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбранила Босоножку и закрыла окно ставнями.

– Ты у меня смотри! – ворчала она. – Вот ужо, дай только гостям уехать… Пристало ли тебе, чучеле, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь…

Сидит Босоножка в темноте и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в щелочку насмотришься. По целым часам Босоножка сидела у окна и смотрела в свою щелочку, как другие веселятся. Смотрела-смотрела и увидела красавца витязя, который приехал на пир случайно. Хорош витязь – лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любуются, а другие витязи только завиду-

ют. Нечего сказать, хорош был король Косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафья не один раз потихоньку взглянула на писаного красавца и вздохнула.

А у бедной Босоножки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный витязь. Вот бы за кого она и замуж пошла! Да вся беда в том, что Босоножка не знала, как витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Всё бы ему до капельки рассказала, а он, наверно, пожалел бы ее. Ведь она хорошая, хоть и уродина.

Сколько гости ни пировали, а пришлось разъезжаться по домам. Царя Пантелея увезли совсем пьяного. На прощанье с дочерью царица Луковна вспомнила про свою Босоножку и расплакалась:

– Ах, что я с нею только делать буду, Кутафья!.. И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают.

Красавица Кутафья нахмурила свои соболиные брови и говорит:

– О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее в кухню, на самую черную работу – вот и всё… Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь.

– Да ведь жаль ее, глупую!

– Всех уродов не пережалеешь… Да я и не верю ей, что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью: меня добрые люди красавицей называют, и брат Орлик тоже красавец. Откуда же такой-то уродине взяться?

– Говорит, что моя…

– Мало ли что она скажет… А ты ее пошли на кухню, да еще к самому злому повару.

Сказано – сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на нее:

– Где это наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот так красавица! Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать.

– И одежонка на ней тоже хороша! – удивлялась повариха, разглядывая Босоножку. – Ворон пугать… Ну и красавица!

А Босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу – она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы. Все так ею и помыкали, а особенно поварихи. Только и знают, что покрикивают:

– Эй ты, хромая нога, только даром царский хлеб ешь! А пользы от тебя никакой нет…

Особенно донимала ее старшая повариха, злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых десять. Случалось не раз, что злая баба и прибьет Босоножку: то кулаком в бок сунет, то за косу дернет. Босоножка всё переносила. Что можно было требовать от чужих людей, когда от нее отказались родная мать и сестра! Спрячется куда-нибудь в уголок и потихоньку плачет – только и всего. И пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но все поварихи

и повара кричали в один голос:

– Ленивая-преленивая эта уродина, царица! Ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест…

– А вы ее наказывайте, чтобы не ленилась, – говорила царица.

Стали Босоножку наказывать: то без обеда оставят, то запрут в темный чулан, то поколотят.

Больше всего возмущало всех то, что она переносила всё молча, а если и плакала, то потихоньку.

– Это какая-то отчаянная! – возмущались все. – Ее ничем не проймешь… Она еще что-нибудь сделает с нами. Возьмет да дворец подожжет – чего с нее взять, с колченогой!..

Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне:

– Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину. Житья нам не стало с нею. Вот как замаялись с нею все – и не рассказать!

Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит:

– А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про нее…

– Сошли ты ее, царица-матушка, на задний двор. Пусть гусей караулит. Самое это подходящее ей дело.

– В самом деле, послать ее в гусятницы! – обрадовалась царица Луковна. – Так и сделаем… По крайней мере, с глаз долой.

XIV

Совсем обрадовалась Босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо – на задний двор посылали с царского стола одни объедки, но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок – вот и весь обед. А как хорошо летом в поле – и зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них Босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие.

– Ты у нас будешь царицей, – шептали ей цветы.

– Я и то царская дочь, – уверяла Босоножка.

Огорчало Босоножку только одно: каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали:

– Го-го-го… ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему понравились так, несчастные гуси!

Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси всё равно бы ей не по-

верили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кощей. Другие гости тоже ели да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь… Не то что король Косарь, у которого много не разгостишься. Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая – всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут несолоно хлебавши к царю Гороху.

Как-то наехало гостей с разных сторон видимо-невидимо, и захотел царь Горох потешить их молодецкою соколиною охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли и пива, и браги, и всякого вина, разложили по столам всякую еду. Приехали и гости – женщины в колымагах, а мужчины верхом. Гарцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился Босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль, а Красик-богатырь – получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют.

– Веселитесь, дорогие гости, – приговаривает царь Горох, – да меня, старика, лихом не поминайте… Кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать… Вот, спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет… А из лука как стрелял

– раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла.

Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхвастав-шегося мужа, и царь Горох прибавил:

– То бишь, это не медведь был, а заяц…

Тут царица Луковна дернула его опять за рукав, и царь Горох еще раз поправился:

– То бишь, и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост… Так, Луковна?

– Так, так, царь Горох, – говорит царица. – Вот какой был удалый…

Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей.

– Когда я был молодой – теперь мне борода мешает, – так я одною стрелой убил оленя, ястреба и щуку, – рассказывал старик, поглаживая бороду. – Дело прошлое, теперь можно и похвастаться…

Пришлось царице Луковне дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал:

– Да я… я… Я прежде вот как легок был на ногу: побегу и зайца за хвост поймаю. Вот хоть царя Гороха спросите…

– Врешь ты всё, Пантелей, – отвечает царь Горох. – Очень уж любишь похвастать… да… И прежде хвастал всегда и теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай… да… Я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватил-

ся за уши и сижу… Это все знают… Так, Луковна? Ведь ты помнишь?

– Да будет вам, горе-богатыри! – уговаривала расходившихся стариков царица. – Мало ли что было… Не всё же рассказывать. Пожалуй, и не поверят еще… Может быть, и со мною какие случаи бывали, а я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту…

Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колымаге.

– Как я прежде верхом ездил! – со вздохом говорил царь Горох.

– И я тоже… – говорил царь Пантелей.

– Лучше меня никто не умел проехать…

– И я тоже…

– Ну, уж это ты хвастаешь, Пантелей!

– И не думал… Спроси кого угодно.

– И все-таки хвастаешь… Ну, сознайся, Пантелеюшка: прихвастнул малым делом?

Царь Пантелей оглянулся и шепотом спросил:

– А ты, Горохушко?

Царь Горох оглянулся и тоже ответил шепотом:

– Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка… Так, на воробьиный нос.

– И велик же, должно быть, твой воробей!

Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспом-

нил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея.

– Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка!.. Даже всем это удивительно! Куда им, молодым-то, до нас…

XV

Босоножка пасла своих гусей и видела, как тешится царь Горох своею охотой. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках. Видела Босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она пасла своих гусей. Взлетит сокол кверху и камнем падет на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплются.

А тут отделился один витязь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась Босоножка, что его сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу.

– Витязь, не тронь моих гусей! – смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной.

Остановился витязь с удивлением, а Босоножка узнала в нем того самого, который понравился ей больше всех.

– Да ты кто такая будешь? – спросил он.

– Я царская дочь…

Засмеялся витязь, оглядывая оборванную Босоножку с ног до головы. Ни дать ни взять, настоящая царская дочь…

А главное, смела и даже хворостиной на него замахнулась.

– Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды, – сказал он. – Разжарился я очень, а слезать с коня неохота…

Пошла Босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит:

– Спасибо, красавица… Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз.

Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось.

– Приведите ее сюда – и посмотрим, – говорит подгулявший царь Пантелей. – Даже очень любопытно… Потешимся досыта.

– И что вам за охота на уродину смотреть? – вступилась было царица Луковна.

– А зачем она себя царскою дочерью величает?

Послали сейчас же послов за Босоножкой и привели перед царский шатер. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал ее. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках.

– Точно где-то я тебя, умница, видел? – спрашивает он, разглаживая бороду. – Чья ты дочь?

Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает:

– Твоя, царь Горох.

Все так и ахнули, а царь Пантелей чуть не задохся от смеху. Ах, какая смешная Босоножка и как осрамила царя Го-

роха!

– Это я знаю, – нашелся царь Горох. – Все мои подданные – мои дети…

– Нет, я твоя родная дочь Горошинка, – смело ответила Босоножка.

Тут уж не стерпела красавица Кутафья, выскочила и хотела вытолкать Босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над Босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что будет, как вдруг выступил из толпы витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвел бедную девушку, выставил ее на общую потеху, да и обидно притом, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил витязь Красик и проговорил:

– Цари, короли, витязи и славные богатыри, дайте слово вымолвить… Девушка не виновата, что она такою родилась, а ведь она такой же человек, как и мы. Это я ее привел на общее посмешище и женюсь на ней.

Подошел витязь Красик к Босоножке, обнял ее и крепко поцеловал.

Тут у всех на глазах случилось великое чудо: Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты.

– Да, это моя дочь! – крикнул царь Горох. – Она самая!..

Спало колдовство с Босоножки, потому что полюбил ее первый богатырь, полюбил такою, какою она была.

– Я там был, мед-пиво пил, по усам текло – в рот не попало.